

ISSN 0132-1366

АКАДЕМИЯ НАУК
СССР

Советское
СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

3

1982



ИЗДАТЕЛЬСТВО
• НАУКА •

Советское СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

МАЙ — ИЮНЬ

СОДЕРЖАНИЕ

3
1982

<i>Виноградов В. Н.</i> Восточный вопрос и англо-русские отношения в 30-е годы XIX века	3
<i>Сумарокова М. М.</i> Педагогическая и научная деятельность Ф. Филиповича в России (1904—1912)	23
<i>Муртузалиев С. И.</i> Из истории болгарского народа под османским господством (Константинопольская патриархия в системе османского управления XV—XVII вв.)	35
<i>Иванов Ю. Ф.</i> Гуситское революционное движение в советской историографии (конец 30-х — начало 50-х годов)	43
<i>Самойленко Г. В. А. А.</i> Фадеев и славянские литературы	52
<i>Горский И. К.</i> Заметки о некоторых понятиях сравнительного литературоведения	59
<i>Широкова Л.</i> Словацкая проза 70-х годов в отражении критики	72
<i>Молошная Т. Н.</i> Процессы синтаксического переразложения словосочетаний в славянских языках (на материале русского, польского, чешского, сербскохорватского и болгарского языков)	80
<i>Орел В. Э.</i> Происхождение албанской именной флексии в свете славянских и других индоевропейских данных	92

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

<i>Гришина Р. П. Г.</i> Димитров и Лейпцигский процесс в материалах новой публикации документов	97
<i>Фрейденберг М. М.</i> Марин Држич, комедиограф из Дубровника	103

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

<i>Чернявский Г. И.</i> Боян Григоров. От съглашателство към залез. Социалдемократическата партия в България. 9 юни 1923 — 19 май 1934 г.	113
<i>Саливон А. Н.</i> E. Schuldt. Handwerk und Gewerbe des 8. bis 12. Jahrhunderts in Mecklenburg	114

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1965
ГОДУ

МОСКВА

<i>Л. К.</i> Традиции и современность в литературе	116
<i>Белов В.</i> Совместные труды советских и югославских ученых	118
<i>Мыльников А. С.</i> Н. А. Прокофьева. Творчество Карела Пуркине и чешская живопись середины XIX в.	121

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

<i>Гибиянский Л. Я.</i> Сессия Комиссии историков СССР и СФРЮ	123
<i>Наумов Е. П.</i> В специализированном совете по защите докторских диссертаций при Институте славяноведения и балканистики АН СССР (по всеобщей истории)	125
<i>Мартынова Г. А.</i> Словари на славянских языках	127

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. И. КОСТЮШКО (главный редактор), В. А. ДЬЯКОВ,
 В. В. ЗЕЛЕНИН (зам. главного редактора), В. И. ЗЛЫДНЕВ, В. Г. КАРАСЕВ,
 Д. Ф. МАРКОВ, А. И. НЕДОРЕЗОВ, С. В. НИКОЛЬСКИЙ,
 Ю. И. ПИСАРЕВ, Л. Н. СМИРНОВ, Н. И. ТОЛСТОЙ (зам. главного редактора),
 Я. Б. ШМЕРАЛЬ

Адрес редакции: 121069, Москва, Г-69, Трубниковский пер., д. 30а.
 Телефон 290-27-40

Зав. редакцией *Е. В. Пономарёва*



• ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС И АНГЛО-РУССКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 30-е ГОДЫ XIX ВЕКА ¹

Победоносная для русского оружия война 1828—1829 гг., заключенный после нее Адрианопольский мир привели к крайнему обострению отношений с Великобританией. Всю свою экономическую, политическую, идеологическую мощь тогдашняя владычица морей бросила на поддержку целостности османских владений и незыблемости власти Порты на Балканах. Курс на сохранение status quo в Юго-Восточной Европе означал попрание национальных интересов балканских народов. Другой его стороной являлось стремление подорвать российское влияние в регионе. Кардинальное изменение соотношения сил в Европе в 1830 г. играло на руку британской дипломатии. Враждебность Николая I к июльской революции во Франции и «королю узурпатору» Луи Филиппу Орлеанскому привела к резкому обострению российско-французских отношений и сближению Лондона и Парижа. «Битва за Грецию» была царизмом проиграна, вновь созданное королевство оказалось в сфере влияния западных держав [1].

Некоторые привходящие обстоятельства испортили и без того напряженные англо-русские межгосударственные отношения в еще большей степени. Конфликт возник в 1832 г. в связи с кандидатурой нового британского посла в Петербурге. Глава внешнеполитического ведомства Джон Пальмерстон не только предложил, но и объявил в газетах о перемещении Ч. Стрэтфорда из Стамбула в северную столицу. Николай I встретил весть об этом в штыки. В русском министерстве иностранных дел были склонны рассматривать Стрэтфорда чуть ли не как первопричину возникших в переговорах по Греции осложнений [1, с. 13]. Послу в Лондоне Х. А. Ливену поэтому было предписано заявить в Форин оффис, что Петербург «предпочел бы любой другой выбор, сделанный его британским величеством». Пальмерстона отказ не смутил. Будучи, по справедливому мнению Ливена, большим нахалом, он заявил, что русская столица — единственное место, отвечающее талантам Стрэтфорда, и он же — единственный кандидат, достойный его занять. Последовала серия трудных объяснений [2, 1832, д. 147, л. 101—102, Х. А. Ливен — К. В. Нессельроде 18 (30) X 1832]. Для Ливена они были просто тягостными — поскольку из Петербурга английский посол был отозван, негласно вставал вопрос о его собственном пребывании в Великобритании: МИД России соглашался продлить «беспосольский период» до той поры, пока Стрэтфорду не подыщут другое место [2, 1833, д. 121, л. 44, 47, 192—193. К. В. Нессельроде — Х. А. Ливену, 25 I (6 II), 8 (20) IV 1833].

Решающая беседа произошла в резких тонах; Ливен приписывал «военственность» собеседника полному успеху либералов на только что со-

¹ Отдельные аспекты рассматриваемой проблемы уже освещались в предыдущей статье [1].

стоявшихся парламентских выборах 1832 г. Министр отверг заявление посла, что его двор вправе отказаться от навязываемой ему персоны, что подобные казусы не раз случались в истории, не нарушая дружественных отношений затронутых сторон. Пальмерстон поставил этот, казалось бы, мелкий эпизод в ряд англо-русских разногласий (в Португалии, Бельгии, Голландии). Он, правда, предложил компромиссный вариант: Стрэтфорд прибудет в Петербург, представится царю, поживет несколько месяцев и возвратится восвояси. Премьер-министр Ч. Грей, к которому обратился Ливен, просил помочь англичанам с честью выйти из создавшегося (точнее — созданного ими) положения [2, 1832, д. 147, л. 394—403, 417—418. X. А. Ливен — К. В. Нессельроде, 16 (28) XII 1832]. Но тут коса нашла на камень: принимать Стрэтфорда Николай не пожелал.

Спор так и не был урегулирован. Отвергнутому дипломату подыскивали место в Испании; но слать в Петербург замену британский кабинет не собирался [2, 1833, д. 118, л. 122. Записка Дж. Пальмерстона от 22 VII 1833].

Так обыденный дипломатический эпизод перерос в конфликтную ситуацию. Нельзя, конечно, преувеличивать его значение; но, по-видимому, горечь оскорбительного отказа подлила каплю в чашу антирусских настроений Стрэтфорда и способствовала превращению его в одного из яростных противников России и инициаторов Крымской войны.

Состояние отношений между двумя странами оставляло желать лучшего и до его серьезного ухудшения, связанного с заключением договора в Ункяр-Искелесси².

Осенью 1831 г. локальный конфликт между наместником города Акки в Сирии и правителем Египта Мехмедом Али перерос в общесманский, а затем и европейский. Египетские войска взяли крепость Акку штурмом, разбили пришедшие ей на выручку турецкие части, заняли всю Сирию. В октябре 1832 г. армия сына Мехмеда Али, Ибрагима, преодолела горный хребет Тавр; путь в Малую Азию был открыт. 11 декабря великий визирь потерпел поражение в битве у Коньи. В Константинополе началась паника, и Восточный вопрос вновь встал на повестку дня европейской дипломатии.

Петербург с тревогой и беспокойством следил за событиями. Сложившееся после Адрианопольского мира положение вполне устраивало двор [5]. Посланник А. П. Бутенев преподал Порте благой совет — подавить мятеж египетского паша, «не прибегая ни к какой иностранной помощи» [3, с. 34]. Этот его бесполезный демарш показателен только с одной стороны — как свидетельство незаинтересованности правящих кругов России в расширении спора, отсутствия помыслов воспользоваться им в своих интересах и крайних опасений, связанных с перспективой вмешательства в него держав, в первую очередь Великобритании³. Между тем Порта, после некоторой внутренней борьбы, обратился именно к этой стране.

В октябре 1832 г. в Лондон прибыл турецкий дипломат И. Маврогени — просить помощи против Египта. Следом за ним приехал Намык паша, официально аккредитованный в качестве посла. Кабинету надо было определять свою позицию, а он к этому не был готов. Премьер-министр лорд Грей полагал, что дни Порты сочтены. Лорд Холланд считал нужным опереться на Египет. Пальмерстон лично склонялся к поддержке Турции, но не обладал еще достаточным весом и авторитетом, чтобы повести коллег за собой.

Намык пашу встретили приветливо, но переговоры отложили. Пальмерстон сослался на то, что министры поглощены подготовкой ко всеобщим выборам. Грей в «общих выражениях» проявил интерес к вопросу.

² Всестороннее исследование событий, связанных с турецко-египетским конфликтом 1831—1833 гг., выходит за рамки наших задач. Оно дано в работах [3; 4].

³ Нас здесь интересует один аспект событий — англо-русское соперничество за влияние в Константинополе. Как писал русский посланник в Стамбуле А. П. Бутенев, султан Махмуд II склонялся к обращению за помощью к России; при его дворе, однако, возобладала точка зрения сторонников проанглийской ориентации [2, 1832, д. 149, л. 275. Копия депеши А. П. Бутенева от 6(18) X 1832].

Обнаружилось, что султанское письмо королю было составлено на старотурецком языке, которого ни Намык, ни Маврогени толком не знали. Прошло время, пока в Лондоне отыскивали какого-то старого испанца, который с грехом пополам сделал перевод. Вдобавок, два турецких дипломата враждовали друг с другом, и более опытный Маврогени «доверительно» информировал своих зарубежных коллег, что питает «мало надежд на успех демаршей паши» [6, р. 279—284; 2, 1832, д. 147, л. 387, 389. X. А. Ливен — К. В. Нессельроде, 9(21), XII, 16(28) XII 1832].

Пальмерстон признавался в беседе с Ливеном: «Великобритании было бы трудно предоставить султану эффективную помощь. Британский флот находится в разных местах, наличных сил едва ли хватит для этого дела» [2, 1832, д. 147, л. 368—369. X. А. Ливен — К. В. Нессельроде 25 XI (7 XII 1832)].

Русский посол пугал главу Форин оффис серьезными последствиями с политической и религиозной точек зрения, могущими произойти в результате катастрофы султана, верховного повелителя мусульман, толковал о проегипетской позиции французского правительства, предлагал коллективное посредничество трех государств в наметившемся конфликте, но безрезультатно. «...Пока что ничто не показывает склонности английского кабинета действовать в этом духе», — писал X. А. Ливен К. В. Нессельроде 25 XI (7 XII) 1832 г. [2, 1832, д. 147, л. 369]. В тронной речи, которой король открыл сессию парламента в феврале 1833 г., о Турции и Египте не упоминалось. Намык пашу водили за нос, выражая Порте сочувствие и общая настоять перед Мехмедом Али на прекращении военных действий. Вильгельм IV подписал письмо султану с изъявлениями дружеских чувств, озабоченности сложившейся ситуацией, заверениями насчет заинтересованности Великобритании в сохранении целостности Османской империи и обещанием не оставлять ее в беде [2, 1833, д. 117, л. 291. X. А. Ливен — К. В. Нессельроде, 24 II (8 III) 1833].

После длительных совещаний Лондон и Париж решили действовать согласованно, остановить наступление Ибрагима, предложить султану посредничество двух дворов на основе передачи Мехмеду Али Сирии на правах вассала Порты и с обязательством выплаты дани [2, 1833, д. 117, л. 86—88. X. А. Ливен, К. О. Поццо ди Борго — К. В. Нессельроде 17(29) I 1833]. При этом не уточнялось, каким способом следовало остановить победоносные египетские войска, хотя было известно, что мятежный паша добровольно прекращать наступления не собирается, а Франция не склонна применять против него силу; султан не хотел уступать территории, а Мехмед настаивал на установлении его наследственной власти и в Сирии, и в Египте. Зато в действиях держав явно сквозило желание устранить Россию от всякого участия в ближневосточных делах. В тогдашнюю египетскую столицу Александрию был направлен полковник Кемпбелл — побуждать восставшего пашу к умеренности. Одновременно британский кабинет пришел к выводу о «политической важности воспрепятствовать расчленению Оттоманской империи с точки зрения европейского равновесия» и посоветовал султану пойти на жертвы ради восстановления мира [2, 1833, д. 117, л. 106, X. А. Ливен, К. О. Поццо ди Борго — К. В. Нессельроде, 24 I (5 II) 1833]. «Линия Пальмерстона» теоретически возобладала. Но на практике «помощь» Турции ограничилась вышеупомянутым королевским посланием. Миссия Кемпбелла, как и ожидалось, закончилась полным провалом, а дружеские излияния, даже за монаршей подписью, не могли заменить Порте военной поддержки.

В Петербурге внимательно и настороженно следили за бессистемными и неуклюжими маневрами Форин оффис. Ясно было стремление Лондона отстранить Россию от урегулирования конфликта и тем самым подорвать ее позиции в Турции, завоеванные в Адрианополе. Выявилось и то, что Пальмерстон запутался в бесчисленных комбинациях: британский флот блокировал голландские берега, побуждая короля Вильгельма к уступчивости в отношении бельгийцев; другая эскадра «сторожила» Португалию, где происходила гражданская война. «Сердечное согласие» с Фран-

цией было хрупким, и английский министр не решался повернуть руль политики слишком круто против египетского властителя. Сочувственные вздохи премьер-министра Грея и самого Пальмерстона никак не заменяли туркам разбитой армии.

В Петербурге, напротив, не знали колебаний. Победа Мехмеда, утверждение его в Стамбуле означали конец всего курса отношений с Османской империей, заложенного в Адрианополе; вместо «тяжело больного» на границах появился бы сильный и беспокойный сосед, за спиной которого стояла Франция. В ноябре 1832 г. Николай I направил в Стамбул и Александрию генерал-лейтенанта Н. Н. Муравьева, знакомого с ближневосточными делами и владевшего турецким языком, наказав ему «как можно более вселять турецкому султану доверенности, а египетскому паше страху» [3, с. 36, 4, с. 4]. Владыку правоверных царский посланец застал в состоянии глубокой депрессии: в Константинополь только что пришла весть о катастрофе при Конье. Но и в этих отчаянных условиях султан, по свидетельству Муравьева, еще не вполне доверял «искренности данных мне поручений к египетскому паше» [7]. Все же санкция на его поездку к Мехмеду была предоставлена. Угрожая открытым столкновением с русскими войсками, Муравьев добился в Александрии издания приказа о приостановке наступления Ибрагима.

Однако, то ли из-за медлительности тогдашних сообщений, то ли по злой воле египетского владыки, войска последнего продолжали продвижение, заняли Кутахию (Кутахья) и приблизились к Бруссе (Бурсе). До Мраморного моря было рукой подать.

Убедившись, что Лондон из дремотного состояния не выведешь, султан обратился за помощью к России. Другого адреса не было, ибо Франция состояла почти что в официальных покровителях взбунтовавшегося паши.

Сигнал «SOS» прозвучал с берегов Босфора 21 января (2 февраля) 1833 г. Реис-эффенди передал Бутеневу от имени султана просьбу прислать эскадру и сухопутный отряд в 25—30 тыс. штыков. 12(24) февраля призыв достиг Петербурга, где загодя ожидали этого шага и приготовились к тому, «чтобы первыми появиться на театре событий с внушительными силами, дабы судьбы Востока ни в коем случае не решались ни без, ни против России». «Все было предусмотрено, заранее урегулировано» [8, 1833, д. 3, л. 8]. Конгр-адмирал М. П. Лазарев имел приказ отплыть из Севастополя по первому известию от посольства в Стамбуле; уже утром 8(20) февраля эскадра в 9 вымпелов (4 линейных корабля и 5 фрегатов) бросила якорь на Босфоре у Буюк-Дере [2, 1833, д. 250, л. 1—3. А. П. Бутенев — Х. А. Ливену, 23 II (7 III) 1833]. Турецкие сановники колебались, как былинки на ветру: стало известно, что в итоге миссии Муравьева египтяне приостановили наступление; новый французский посол адмирал Руссен заверял их, что добьется урегулирования и снарядил в Александрию своего адъютанта. Приободрившиеся турки обратились поэтому к Лазареву с просьбой занять место посромнее, не на виду европейской дипломатии, и удалиться с судами в Созополь. Все это никак не входило в планы царизма. Помог ветер (не политический, а самый обычный, связанный с погодой), помешавший отплытию парусников под андреевским флагом. А когда ветер стих, политический горизонт заволокли тучи: Ибрагим паша сместил турецкие власти в Смирне, показав тем самым, что собирается обосноваться там надолго. Напуганный диван уцепился за русскую поддержку и настойчиво просил новых подкреплений. 26 марта (7 апреля) из России прибыла вторая морская дивизия с десантом. Всего на Босфоре было сконцентрировано 20 кораблей, а на его азиатском берегу — десятитысячный отряд пехоты [8, 1833, д. 3, л. 8—19]. Мехмед Али признал свой проигрыш: по египетско-турецкому соглашению, заключенному при прямом содействии французской дипломатии, он удовольствовался предоставлением ему в управление Сирии и Аданского округа, однако, не торопился с выводом войск.

Таково было положение, когда в мае для руководства всеми русскими дипломатическими и военными акциями в Стамбул прибыл генерал

А. Ф. Орлов. Он нанес визиты виднейшим сановникам и был принят султаном. Все его собеседники признавали, что русские войска избавили столицу от нашествия и выражали желание пребывать под их защитой, пока Ибрагим не отведет свою армию. Орлов заверил министров, что не покинет их, пока последний египетский батальон не отойдет за Таврские горы. По его впечатлению, отношения с новыми послами Франции и Англии, адмиралом Руссеном и лордом Дж. Понсонби, у него сложились удовлетворительные [2, 1833, д. 121, л. 174—179. К. В. Нессельроде — Х. А. Ливену 17(29) V 1833]. На самом деле оба дипломата затаились. Французская эскадра крейсировала у берегов недалеко от Смирны. Орлов пригрозил, что, если французы попытаются войти в Дарданеллы, он вызовет войска из Одессы и корпус генерала П. Д. Киселева из Валахии. Диван дал заверения, что не допустит вступления французских судов в пролив, и адмирал Руссен, после объяснения с Орловым, притушил свою активность [2, 1833, д. 250, л. 7. А. Ф. Орлов, А. П. Бутенев — Х. А. Ливену 14(26) V 1833]. Понсонби должен был скрывать свои чувства. Положение он находил отчаянным. По его словам, Махмуд «набросился на религию, на одежду и на карманы своего народа... Против него все, помимо его миньонов... У султана нет ни армии, ни денег, ни влияния. К нему относятся с отвращением и презрением» [6, р. 303]. Туркам английский посол рекомендовал осторожность и покорность, пока русский флот не отплывет от их берегов. «... Британия играла в Константинополе жалкую роль, когда судьба султанского трона висела на волоске», — свидетельствует сэр Ч. Вебстер [6, р. 289].

Русские действия, направленные на предотвращение распада Османской империи, насколько не противоречили планам Лондона, тем более, что сам он продемонстрировал полное бессилие. Но другая сторона событий никак не устраивала британских политиков — усиление влияния царизма в Стамбуле, которое они — у страха глаза велики — склонны были преувеличивать. Поэтому Пальмерстон сперва, пока Муравьев и Орлов выполняли свою миссию, оставался на позиции внимательного, но стороннего наблюдателя — чтобы не связать себя какими-то положительными оценками и сохранить за собой в дальнейшем, когда минует опасность египетского вторжения, возможность выступить на сцену с протестами и попытаться свести внешнеполитический успех России на нет.

Поскольку любое достигнутое с русской помощью примирение было связано с потерями для Порты, можно было обострять недовольство сераля и дивана; крах амбициозных планов Мехмеда Али болезненно воспринимался в Париже, и вырисовывались перспективы дальнейшего ухудшения франко-русских отношений. Поле для игры открывалось широкое, но надо было ждать, и Пальмерстон набрался терпения.

В апреле в Великобритании разразилась газетная буря: в «Таймс» появилась явно инспирированная правительством статья о захватнических претензиях Петербурга. С подобного же рода утверждениями выступила газета «Глоб». Ливен, не имея прямого повода для протеста, решил выразить свое недовольство косвенным образом: он не явился на очередной королевский прием. На Пальмерстона эта демонстрация ни малейшего впечатления не произвела: он с увлечением танцевал на первом же балу, устроенном в русском посольстве [2, 1833, д. 117, л. 200, 367, 387—389. Х. А. Ливен — К. В. Нессельроде 7(19), 21 III (2 IV) 1833]. Окольным путем, через миссии Пруссии и Австрии, до Ливена доходили сведения о стремлении Пальмерстона и Талейрана вбить клин между Габсбургами и Романовыми. Австрийскому поверенному в делах Нейману глава Форин оффис заявил, что недостойно держав поддаваться влиянию «полуварварской нации», которую де давно пора поставить на место. Ему вторил Талейран: Австрия играет жалкую роль, плетясь за русской повозкой, ей давно пора примкнуть к морским государствам, — разглагольствовал старый дипломат [2, 1833, д. 117, л. 391—392, 399—400. Х. А. Ливен — К. В. Нессельроде 21 III (2 IV) 1833], запамятавав, что некогда сам, за деньги, поставлял Петербургу важную информацию и именовался в секретной русской переписке «кузеном Анри» и даже «Анной Ивановной».

Затем британский министр, видимо, спохватившись, что зашел слишком далеко и рано приоткрылся, заверил Ливена, что король и кабинет высокоценят получаемую из Петербурга информацию, и он якобы по чистой случайности не сказал раньше об этом послу. А за статьи в газетах правительство не отвечает, последние выражают мнение общественности, которая «расположена крайне неблагоприятно к России» [2, 1833, д. 117, л. 393—394. X. А. Ливен — К. В. Нессельроде 21 III (2 IV) 1833]. Он напомнил подавление недавнего восстания в Польше, Бельгию, «казус» Стрэтфорда и многое другое, что разделяло два кабинета. Разговор был скреплен обменом письмами. Пальмерстон засвидетельствовал, что его правительство «должным образом» оценило мотивы, которыми руководствовался Петербург, направив войска в Турцию. Примечательной была концовка послания, где выражалась уверенность, что российский кабинет, «следуя великодушной и просвещенной политике», ни в коем случае не станет использовать посланные в Турцию силы «в целях, несовместимых с существующим владением и распределением власти в Леванте, что так важно для сохранения общего мира в Европе» [2, 1833, д. 117, л. 478. Дж. Пальмерстон — X. А. Ливену 2 IV 1833]. Царизму предоставлялась роль бескорыстного спасителя султанского режима.

Петербург в ответ заверял, что не поддастся заманчивым искушениям, на которые намекал Пальмерстон. «По мере того как могущество Оттоманской империи ослабевает в Азии, уменьшаются и возможности ее сопротивления в Европе. Этот факт, бесспорно, играл бы на руку России, вынашивай она в тайне замыслы завоеваний и приращений; сегодня он вызывает чувство искреннего сожаления у императорского правительства, проводящего миролюбивую и охранительную политику», — в собственном ему округлом стиле писал вице-канцлер К. В. Нессельроде [2, 1833, д. 121, л. 138. К. В. Нессельроде — X. А. Ливену 10(22) V 1833]. Было ясно, что укрепление позиций в Константинополе, о котором, конечно же, мечтали российские правящие сферы, должно быть осуществлено в максимально более гибких формах.

12(24) мая 1833 г. Ибрагим паша известил великого визиря, что отдал приказ об отступлении египетской армии. Два офицера — турецкий и русский — были посланы в Малую Азию наблюдать за ходом операции, растянувшейся на полтора месяца. 25 июня (7 июля) Орлов информировал падишаха об уходе последнего египетского солдата за Тавр и «испросил» разрешения (!) на эвакуацию своих войск, которое немедленно и с величайшей готовностью было дано. По случаю царских именин султан на пароходе появился среди русских судов, любовался иллюминацией и салютом. Всем офицерам от его имени были вручены золотые медали, солдатам и матросам — серебряные. Порта выразила глубокую благодарность за примерное поведение российских воинов [2, 1833, д. 250, л. 11—17. А. Ф. Орлов — X. А. Ливену 27 VI (9 VII) 1833, копия ноты Порты от 26 VI (8 VII) 1833].

Пока на стамбульском рейде пускали праздничный фейерверк, готовилась к взрыву настоящая дипломатическая бомба: 28 июня (9 июля) был подписан русско-турецкий договор, вошедший в историю под названием Ункяр-Искелесийского (по названию местечка, в котором стояли русские части, хотя заключен он был в Буюк-Дере). Суть его состояла в следующем: два государства «обещали согласоваться откровенно касательно всех предметов, которые относились до их обоюдного спокойствия и безопасности и на сей конец подавать взаимно существенную помощь и самое действительное подкрепление». Царь обязался, «согласно правилам охранения и взаимной защиты» прийти на помощь Турции сухопутными и морскими силами. В секретной статье (быстро ставшей достоянием гласности) султан освобождался от «тяготы и неудобств», связанных с предоставлением военной поддержки России на взаимной основе; вместо этого «в случае, если бы обстоятельства поставили Порту в обязанность подавать оную», она ограничивала «действия свои в пользу российского двора закрытием Дарданелльского пролива, т. е. не позволять никаким иностранным военным кораблям входить в оный под каким-либо предлогом»

[9, с. 33]. Это был оборонительный русско-турецкий союз, заключенный на восемь лет.

Британские историки пытались дать свое толкование некоторых положений договора. Предлогом для этого служило известное расхождение в русском и турецком текстах: в первом вполне четко говорится о закрытии Дарданелл; во втором упоминается пролив Белого (т. е. Средиземного) моря [3, с. 44—45]. Ч. Вебстер склонен на этом основании утверждать, что закрытие относилось ко всему пространству вод между Черным и Средиземным морями⁴. Отсутствие упоминания Босфора, однако, представляется не случайным. Логическая трактовка событий, повлекших за собой заключение договора, когда опасность надвигалась с юга, а спасение пришло с севера, когда удалось избежать далеко идущих для Османской империи последствий (если не ее развала) тем, что русские войска высадились на берегу Босфора, исключает такую меру, как перекрытие пролива. Впрочем, все признают, что если не де-юре, то де-факто Босфор становился открытым⁵.

Выгоды договора для России были неоспоримы, и еще до его заключения Нессельроде писал о них Орлову, что Порта связывала себя «официальным соглашением, которое обезопасило бы южные провинции Российской империи, граничащие с Черным морем. Подобная гарантия естественна, поскольку она явилась бы единственным вознаграждением за помощь, которую мы предложили султану». Тут же отмечалось, что договор обеспечивает безопасность Турции, так как «предписывает держать вход в Дарданеллы закрытым для военных судов иностранных держав». Документ гарантировал Порте русскую помощь в случаях, аналогичных только что завершившемуся конфликту. Он носил строго оборонительный характер: «Россия будет защищать Турцию только против агрессии, — говорилось в упоминавшейся нами инструкции Орлову, — при этом лишь в европейских владениях» [3, с. 42]. Связывать себя обязательством подпирать разваливавшуюся Османскую империю и тем более восстанавливать ее там, где она рухнула, Петербург не собирався. Орлов вежливо, но твердо отклонил попытки своих турецких собеседников договориться о наступательном союзе.

Советская историография дает акту, заключенному в Ункяр-Искелеси, высокую оценку: «...договор был высшей точкой дипломатических успехов России на Ближнем Востоке. Он предоставлял надежные гарантии безопасности Черноморского побережья, усиливал позиции России в Турции и повышал ее престиж в Константинополе», — говорится в коллективном труде «Восточный вопрос во внешней политике России» [12, с. 101]. Вход в Черное море для незваных гостей заперся прочно; у турок вдоль Дарданелл располагалось 580 пушек; форсирование пролива силами одного флота, без значительной сухопутной поддержки (чего Великобритания обеспечить не могла), военные специалисты считали невозможным [13, р. 43].

Ункяр-Искелесийский договор безупречен с точки зрения международного права, и советские исследователи отмечают встречающиеся в западноевропейской историографии попытки бросить тень на его правомочность. Российская дипломатия тогда еще придерживалась взгляда, что русско-турецкие дела и отношения должны решаться в Константинополе и Петербурге без вмешательства держав, далеких от черноморских берегов [14, т. XI. СПб., 1895, с. 416].

В отчете МИД за 1833 г. выражалась надежда, что договор «раз и навсегда» положит конец колебаниям Турции в выборе союзников и формально узаконит право Петербурга вмешаться в случае осложнения обстановки на Ближнем Востоке, что он, наконец, поставит крест на честолюбивых планах Мехмеда Али в районах, близлежащих к России [8, д. 3, л. 28]. Можно сказать без риска ошибиться, что «право вмешательства» в сложив-

⁴ Обзор разных точек зрения см. [3, с. 44—45; 10, с. 132—134].

⁵ Характерно, что в новейшей американской публикации Дж. Хуревича, где документы даны в английском переводе, говорится только о Дарданеллах [11, р. 106].

шихся условиях соседствовало с понятиями влияние и контроль. Царизм мечтал о своем политическом преобладании в Османской империи, выражение «раз и навсегда» подчеркивало значение этих планов. Казалось, осуществились мечты русской дипломатии, а именно — «навсегда утвердить наше преобладание в Леванте» [2, 1829, д. 7003, л. 71]. Кратко и образно об этих планах писал Карл Маркс: «Турция была... спасена от расчленения только для того, чтобы целиком достаться России» [15].

Подчеркиваем, что в данном случае речь идет о субъективных замыслах царизма, а вовсе не об объективно-историческом значении Ункяр-Искелессийского договора. Нессельроде, подписавший отчет МИДа, не делал различия между этими двумя совсем не однородными понятиями. На деле же мечты о преобладающем влиянии рассеялись в каких-нибудь полдесяток лет. Но оставались положительными не только для России, но и для Турции факторы, ибо договор способствовал укреплению внешнеполитических позиций последней, обеспечивая ей защиту на случай нового нападения Мехмеда Али, позволял турецким реформаторам во главе с Решидом пашою приступить к делу без внешних помех [12, с. 101; 16, с. 34].

В Лондоне и Париже русско-турецкий союз встретили в штыки. Здесь испугались не одной какой-либо статьи, а всего договора в целом, знаменовавшего усиление влияния царизма в Турции, которое в обеих столицах склонны были рассматривать в увеличительное стекло. С легкой руки Пальмерстона западная историография подхватила версию о том, будто Орлов «под жерлами пушек» вырвал у турок подпись под актом о союзе [2, 1833, д. 119, л. 209]. Видные британские исследователи, знакомые с источниками, ее не принимают: «Ничего не может быть более противоречащего истине, нежели утверждение, будто граф Орлов вынудил султана пойти на Ункяр-Искелессийский договор силой оружия. Это был человек, исполненный достоинства и очарования, с вежливым, примирительным и ласковым обхождением... Его тактика явилась вершиной дипломатического искусства». Султан Махмуд не заслужил упрека за принятие помощи «от единственного лица, на которое он мог положиться», — пишет Г. Темперлей [17, р. 70].

Советские исследователи вполне обоснованно отвергают легенду о том, что турки действовали по чьему-либо принуждению, которая никакими архивными материалами не подтверждается. Документально известно, что турецкая сторона явилась инициатором заключения союза, сперва в неофициальных демаршах перед послом А. П. Бутеневым [9, с. 30]. «Первая мысль о договоре исходила непосредственно от султана, который почувствовал настоятельную необходимость иметь моральную поддержку у России», — писал Нессельроде [12, с. 100—101]. Зная об этом, российский кабинет уполномочил Орлова, если желание будет повторено, вступить с Османской империей в оборонительный союз. И действительно, во время первой же аудиенции Махмуд высказался в пользу заключения договора [9, с. 30].

Турецкая историография указывает на вынужденный характер обращений Порты о помощи. Известно изречение султана: утопающий и за змею хватается. Разумеется, Порта не по своей воле вступила в тяжелейший для нее кризис. Однако в рамках осознанной необходимости она по своему выбору и без всякого принуждения ориентировалась на сотрудничество с Россией, закрепленное в союзном акте. Опыт прошлых лет толкал османские власти на подобный путь: никто не пришел на помощь Порте после поражений 1829 г.; западные державы бездействовали в критические для нее месяцы 1832—1833 гг., когда ее армия была разгромлена, и судьба династии Османов висела на волоске. Известно, что обычная процедура заключения договора с Турцией превращалась для русской стороны в мучение, ибо османские представители были большими мастерами тянуть время, расставлять процедурные рогатки и изыскивать предлоги для спора. Для выработки Ункяр-Искелессийского акта потребовалось всего одно заседание, и это само по себе свидетельствует о стремлении Порты

к достижению договоренности. Наконец, в момент подписания пла уже погрузка русского десанта на суда и было объявлено об отплытии.

На долю русской дипломатии выпала неблагоприятная задача — доказать, что Ункяр-Искелесси ничего не изменил. Секретная статья, уверял Нессельроде, «служит исключительно констатацией факта закрытия Дарданелл для военных судов иностранных держав, системы, которой Порты придерживалась во все времена» [2, 1833, д. 121, л. 305. К. В. Нессельроде — Х. А. Ливену 5(17) VIII 1833]. Русский флаг, подчеркивал министр, не пользуется никакими преимуществами. Нессельроде тактично умалчивал, что о Босфоре статья не упоминала; вход в Мраморное море загораживался с одной стороны, а, хотя это море маленькое, оно плещется у стен Константинополя...

В Лондоне полагали, однако, что сами лучше разберутся в последствиях Ункяр-Искелесси, и восприняли его как оглушительное поражение британской политики. Это отчетливо сознавал и (в доверительной переписке) признавал Пальмерстон: «Верно, что Россия тогда единолично предотвратила занятие Константинополя Ибрагимом или по меньшей мере общий провал в результате его наступления. Смею думать, ... что никакой британский кабинет в любой период английской истории не совершал столь великой ошибки во внешних делах, как кабинет лорда Грея, отказав султану в помощи и покровительстве...» [2, 1833, д. 121, л. 382. К. В. Нессельроде — Х. А. Ливену 22 XII 1833 (3 I 1834); 3, р. 283].

Реакция Уайт-холла была немедленной и острой. Пальмерстон объявил, что кабинет был «тягостно поражен тайной», которая окружала подготовку договора ⁶, заключенного «под жерлами пушек» русской армии и флота. Ункяр-Искелесси, по его утверждению, «превращал Порту в вассала России; опустело место, которое Турция занимала в европейской системе, и возникла необходимость заполнить его другими политическими комбинациями» [2, 1833, д. 119, л. 208—209. Х. А. Ливен — К. В. Нессельроде 4(16) VIII 1833]. Министр отказался признать заключенный акт и заявил, что Англия считает его несуществующим. Ливен приписывал раздражение Пальмерстона уязвленному донесенным поражением самолюбию и нападкам, которым он подвергался в парламенте. Оппозиция, действительно, без снисхождения использовала провал либерального кабинета. Т. Атвуд уверял, будто Англия за последние годы перенесла больше унижений от России, чем за все 700 лет до этого ⁷. Он, Атвуд, предупреждал Пальмерстона насчет опасности, нависшей над Стамбулом; министр в ответ одарил его благожелательной улыбкой и выразил свое несогласие. «Теперь в руках русских Константинополь, или по крайней мере Скутари, а Скутари — тот же Константинополь. Завтра русские получат крепости на Дарданеллах, и понадобится миллион фунтов стерлингов, чтобы выдворить их оттуда. Я бы лично предпочел, чтобы русские явились на Темзу и захватили Лондон, чем сносить оскорбления, которые они обрушивают на нас в последние семнадцать лет», — запальчиво твердил Атвуд. Завершил он свою речь на истерической русофобской ноте: «Пройдет немного лет... и эти варвары научатся пользоваться мечом, штыком и мушкетом почти с тем же искусством, что и цивилизованные люди». Самое время поэтому начать против России войну, «подняв против нее Персию, с одной стороны, Турцию с другой; Польша не останется в стороне, и Россия рассыплется как глиняный горшок» [18].

Подстрекательства такого рода распалили правительство. Лорд Понсонби и адмирал Руссен обратились от имени кабинетов Великобритании и Франции к Порте с протестом. С некоторым опозданием (16—28 октября) два правительства адресовали резкий демарш российскому министерству иностранных дел: договор в Ункяр-Искелесси, писали они, придает русско-турецким отношениям совершенно новую окраску; в случае воору-

⁶ На самом деле еще 6 июня реис-эффенди сообщил британскому послу Дж. Понсонби о намерении Порты заключить с Россией договор [6, р. 303].

⁷ Познания депутата в истории были весьма расплывчатыми, ибо о скольконибудь регулярных англо-русских связях можно говорить лишь со второй половины XV в.

женного вмешательства России во внутренние дела Турции Англия и Франция «почтут себя совершенно вправе следовать образу действий, внутреннему им обстоятельствами, так, как если бы помянутого трактата не существовало» [19]. Ответ российского МИД был выдержан в энергичных тонах: договор в Ункяр-Искелесси будет выполнен, как если бы сделанного в ноте заявления не существовало [8, 1833, д. 3, л. 38—39]. В развитии дружеских отношений между Россией и Турцией в январе 1834 г. в Петербурге была подписана конвенция, по которой царское правительство снизило на 2 млн дукатов (или на треть) сумму, еще причитающуюся с Порты в возмещение военных убытков, сократило наполовину ежегодные платежи и выводило свои войска из Дунайских княжеств.

Османское правительство, избавившись от кошмара внешней опасности, деятельно принялось за реформы. Была преобразована административная система, приняты меры для уменьшения произвола местных правителей и взяточничества чиновников, введена в обращение новая серебряная монета, значительно увеличен контингент вооруженных сил, создана национальная гвардия, построены укрепления по берегам Дарданелл. В 1834 г. Порта установила постоянные дипломатические отношения с некоторыми державами. Через два года официально возникло министерство иностранных дел. Внешние связи помогали реформаторам проводить их политику модернизации [16, с. 51, 55].

Нанеся поражение западным державам, царизм в том же 1833 г. сумел достичь соглашения с Габсбургами. Это произошло во время встречи Николая I с кайзером Францем в Мюнхенграце (Мнихово Градиште). Стороны договорились «поддерживать существование Османской империи под властью нынешней династии». Ссылка на недавний конфликт с египетским пашой показывала, какая опасность тревожила обе коронованные головы. Однако уже С. С. Татищев подчеркивал, что «центр тяжести конвенции» (для российских ее авторов) заключался не в приведенной формуле, а во второй секретной статье, предусматривавшей случай, «когда, не взирая на общие их пожелания и усилия, нынешний порядок был бы все же ниспровергнут в Турции». Николай и Франц собирались в этом случае «сообща иметь наблюдение за тем, чтобы перемена, совершившаяся во внутреннем положении этой империи, не могла нанести ущерба ни безопасности их собственных владений, ни правам, обеспеченным каждому из них договорами, ни европейскому равновесию» [14, т. IV. СПб., 1878, с. 445—449]. Документ был «с двойным дном», ибо заранее предусматривал неудачу того курса, которому стороны торжественно обязывались следовать, а договоренность — временной и зыбкой, ибо австрийская сторона всеми силами и средствами поддерживала незыблемость Османской империи. Здесь же, в небольшом чешском городке, за парадным обедом, произошел знаменательный обмен репликами между царем и канцлером К. Меттернихом [20], из которого выявилось, что первый метит в наследники «больного человека», а второй считает себя его лекарем⁸.

Но все же на какое-то время, пока вокруг Балкан и Турции царило «затишье», Россия выходила из состояния международной изоляции.

Нельзя закрывать глаза на теневые стороны Ункяр-Искелессийского соглашения. Оно знаменовало апогей курса на сохранение «слабого соседа», взятого после заключения Адрианопольского мира. Исторически он был бесперспективен, ибо нельзя было законсервировать изжившее себя османское господство на Балканах. Он означал отказ даже от косвенной поддержки национально-освободительного движения народов (было бы грешно записывать царизм на каком-то этапе в его союзники), но могучие удары, нанесенные султанской державе, подорвали и расшатали всю систему ее владычества в Юго-Восточной Европе и явились мощной поддержкой для покоренных народов. Теперь официальная Россия откровенно поворачивалась к ним спиной.

⁸ За полгода до Мюнхенграца Меттерних заверял Пальмерстона, что Австрия будет воевать если царизм посягнет хотя бы на дюйм Османских владений на Балканах [21].

Правда, диалектика истории сложна. Адрианопольский мир явился вехой в развитии не только русско-турецких отношений, но и освободительного движения и в становлении национальной государственности на Балканах. С появлением независимой Греции, признанием автономии Дунайских княжеств и Сербии завершился важный этап балканской истории. Наступило время количественного накопления противоречий без близкой перспективы их качественного перерастания в новый открытый взрыв против Порты. Тучи балканского кризиса какое-то время не заволакивали европейский горизонт. Поэтому взятая на вооружение в Адрианополе и окрепшая в Ункяр-Искелесси политика не нанесла народам Юго-Восточной Европы того ущерба, которым она, абстрактно рассуждая, была чревата. Поговорка «нет худа без добра» вполне применима к некоторым хитросплетениям тогдашней ситуации. Сильно возросшее российское влияние в Константинополе пошло на пользу не только грекам, что видно из вышележащего; Порта без сопротивления признала проведенные в 1831—1832 гг. в Дунайских княжествах реформы; согласилась на упрочение автономии Сербии. В болгарской историографии выражалось мнение, что взлет российского влияния объективно пошел на пользу освободительному движению их страны.

Совокупность документов и свидетельств современников приводит к выводу, что царизм рассматривал Ункяр-Искелесси как временную комбинацию, вызванную опасностью замены спокойного и слабого соседа сильным и внушающим тревогу. Об этом говорит и краткий срок действия соглашения (8 лет), и мюнхенгрецкая договоренность об обмене мнениями в случае приближения распада Османской империи, и прозрачные намеки царя на то, что он хотел бы попасть в наследники своему горячо любимому другу и брату Махмуду II.

В конце 1833 г. российская дипломатия предавалась торжеству: западные нахалам дали по рукам, с Веней удалось достичь договоренности. «Восточный вопрос закрыт; по крайней мере так заявляем мы», — писал Нессельроде [2, 1833, д. 121, л. 287. К. В. Нессельроде — Х. А. Ливену 5(17) VIII 1833]. Увы, сие от него не зависело. Известный американский исследователь В. Пюриер высказал мнение о пяти годах «вооруженного мира» между Великобританией и Россией после 1833 г., и один из разделов своего труда озаглавил — «Англия открывает Восточный вопрос» [13, р. 78].

Взвешивая все плюсы и минусы Ункяр-Искелессийского договора, мы, в отличие от авторов труда «Восточный вопрос во внешней политике России» [12, с. 36], склонны считать «высшей точкой дипломатических успехов России» не этот акт, а Адрианопольский мир, сыгравший эпохальную роль в судьбах Балкан. Подписанное в 1833 г. соглашение знаменовало вершину влияния царизма в Константинополе, как оказалось, на ограниченный срок⁹, и в то же время привело к ужесточению соперничества держав. Выигрыш для России оказался тактическим.

Британская историография ведет от Ункяр-Искелесси новое летоисчисление англо-русских отношений. «Ункяр-Искелесси — подлинный поворотный пункт в отношениях английских государственных деятелей к России. Пальмерстон преисполнился фатальной ненавистью к России, и виги обратились к торийской политике подкладывания подушек под Турцию», — пишет Г. Темперлей [17, р. 73]. Его точку зрения разделяет Ф. Е. Бейли: «Позиция Форин оффис на Ближнем Востоке претерпела глубокие изменения в 1833 г.». Произошел «резкий поворот от пассивного безразличия. . . к активному вмешательству в пользу Турции, к программе, которой следовали в течение более чем двух десятилетий. . .» [22, р. 46].

С этими высказываниями можно согласиться лишь в части, касающейся активизации Форин оффис, Сити и адмиралтейства на Ближнем Востоке

⁹ Трудно согласиться с автором весьма компетентного исследования М. Тодоровой в том, что исключительное преобладание российского влияния в Стамбуле продолжалось всего два месяца после подписания договора в Ункяр-Искелесси [10, с. 134].

и Балканах. Что касается мнимой их пассивности до 1833 г., то таковой не существовало, хотя обстоятельства внешнего и внутреннего плана и заставляли их несколько сдерживаться. «Большой испуг» 1833 г. (за свое влияние в Османской империи) заставил их пустить в ход все ресурсы — политические, экономические, идеологические. Более чем сомнительным представляется тезис о вмешательстве в пользу Турции. На самом деле именно в эти годы Турции серьезная опасность не угрожала; британский кабинет занимался вытеснением Петербурга с его позиций в Юго-Восточной Европе, Средиземноморье, на Ближнем Востоке, проводя политику хищную и агрессивную. Вот беглый перечень его деяний, иногда провокационного толка.

Английская средиземноморская эскадра была дислоцирована на Мальте, поближе к турецким владениям; сторонник решительных акций, посол в Стамбуле Дж. Понсонби получил право вызывать корабли в проливы, правда, с оговоркой, что этому должна предшествовать просьба Порты. «Этот человек крайних взглядов, бóльший русофоб, нежели сам Пальмерстон, мог втянуть Англию и Россию в войну без обращения к Даунинг-стрит», — свидетельствует Г. Темперлей. В апреле 1834 г. Пальмерстон так выражался в частном письме: «С Россией все по-прежнему — мы ненавидим и рычим друг на друга, хотя ни та, ни другая сторона не хочет войны» [17, р. 76—77]. Соблазняя Турцию британской помощью, ее толкали к нарушению Ункяр-Искелессийского договора.

В 1836 г. французский кабинет запросил фирман на проход через Босфор и Дарданеллы военного брига. Лондон готовился последовать этому примеру, держа наготове корабль «Волэджд». Протест Бутенева сорвал этот замысел. В 1834 г. по Балканам и Кавказу «путешествовал» журналист и разведчик Д. Уркарт. В том же году капитан Лайонс обследовал проливы, а подполковник А. Макинтош посетил Севастополь. База русского флота привлекала особое внимание разведчиков. Летом 1835 г. туда нанес визит капитан А. Слейд.

В 1835 г. англо-русские дипломатические отношения были восстановлены в полном объеме. Послом в Петербург был назначен граф Дарем. Ехал он не торопясь — через Черное море и Украину. В его свиту были включены капитан Ч. Дринкуотер и подполковник В. де Роуз. Они «в сентябре, октябре и ноябре 1835 г. обследовали... все военные и морские сооружения на юге России». «Дринкуотер подготовил доклад о Черноморском флоте, Николаеве, Севастополе, Херсоне и Дунае; Роуз — о Греции, Турции, обороне проливов, военных поселениях на юге России, о Киеве, Анапе, Силистрии и княжествах» (Дунайских. — В. В.) [13, р. 23—25, 31—32]. Разведчики пришли к выводу, что форсировать Босфор и Дарданеллы одними военными судами, без поддержки крупных сухопутных сил, невозможно.

В июле 1836 г. Балтийский флот проводил большие учения в присутствии дипломатического корпуса. Нравы царили беспечные: «Капитану Г. В. Кроуфорду, британскому морскому шпиону, позволили совершить плавание вместе с эскадрой, предоставив в его распоряжение корвет» [13, р. 33]. В то же время Пальмерстон запретил русским морским офицерам доступ даже на верфи Портсмута.

Кроуфорд не только доложил, куда следовало, о своих впечатлениях, но и поделился ими с широкой публикой, напечатав брошюру «Русский флот на Балтике в 1836 г.» [23]. Тогда же наместник Кавказа М. В. Воронцов помог британскому разведчику Э. Спенсеру «совершить путешествие» по подведомственному ему краю.

Англичане демонстративно пренебрегали установленной русским командованием блокадой Кавказского побережья. В мае 1835 г. военные корабли Черноморского флота задержали судно «Ч. Спенсер» для обыска. Хотя через пять часов капитану разрешили продолжать плавание, Пальмерстон потребовал компенсации за «нанесенный ущерб». В ноябре 1836 г. бриг «Аякс» захватил британский парусник «Виксен» с контрабандой. «Виксен» был конфискован, его команда выслана в Стамбул. Британская печать подняла яростную кампанию, нагнетая в стране обстановку воен-

ной истерии. «Британской публике позволили уверовать в то, что Россия вот-вот завоюет Константинополь» [13, р. 50—53].

Понсонби не жалел усилий в попытках распатать русско-турецкий союз, спекулируя на том, что Махмуд II не желал мириться с потерей Сирии. Идея реванша, мечта о разгроме непокорного египетского вассала превратилась в основной постулат турецкой внешней политики. Порта вынашивала замысел — приспособить Ункяр-Искелесский договор к своим реваншистским планам и, опираясь на Россию, нанести Мехмеду Али поражение. Но содействовать восстановлению власти султана там, где она рухнула, Россия не собиралась. Зондажи с турецкой стороны наталкивались на вежливый, но твердый отказ. Тогда, выражая внешнюю лояльность, демонстрируя русскому двору дружеские чувства, Порта начала нащупывать на Западе возможности поддержки в борьбе с Мехмедом. Неспроста в Париже и Лондоне, а немного позже в Вене появились постоянные османские представительства: «Пользоваться соперничеством держав — турецкие дипломаты стали с самого начала своей деятельности за границей», — свидетельствует Н. А. Дулина [24, с. 69]. Это относится, в первую очередь, к известному реформатору Мустафе Репиду паше, занимавшему последовательно посты посла во Франции и Англии. В беседах с ним Пальмерстон подчеркнуто именовал Мехмеда Али «губернатором Египта» и клялся, что не будет способствовать его «спорчным наклонностям». Он заверял, что британский кабинет не настаивает на соблюдении Кютахийского перемирия — иными словами, манил Порту перспективой возврата Сирии — и предостерегал от русской военной помощи. Репид намекал на желательность поддержки со стороны Великобритании и Франции [24, с. 70]. В ответ обильно лились советы Турции идти путем реформ — тогда де она и сама справится с непокорным. Пальмерстон предлагал (если не сказать — навязывал) услуги британских офицеров, стремясь взять под контроль османские вооруженные силы. На первых порах это встречало категорический отказ: оказывали влияние древние традиции мусульманского изоляционизма, нежелание ставить правверные войска под команду «гяуров». Диван понимал, что приглашение вызовет величайшее раздражение в Петербурге. Но уже в 1839 г. первая группа британских моряков в высоких чинах прибыла в Константинополь.

В 1834 г. усилиями держав удалось предотвратить новое турецко-египетское столкновение. Намык паше, прибывшему в Лондон за помощью, Пальмерстон надавал кучу наставлений насчет реформ в Турции: он советовал набраться терпения и дожидаться, пока престарелый Мехмед Али предстанет перед Аллахом, а его владения распадутся. Но убедительнее речей на Александрию и Стамбул подействовали маневры английской эскадры, подкрепленной французскими судами, в Восточном Средиземноморье [6, р. 341]. Царь, опасавшийся нового кризиса и не горевший желанием приходить на выручку султану, не протестовал. Порта восприняла пассивность Петербурга по-своему и смелее перешла к «игре на двух столах». Все «это придавало султану храбрости и подрывало влияние русской партии», — пишет Ч. Вебстер [6, р. 336]. Понсонби, используя услуги фанариота Ст. Вогоридеса, бея острова Самос, установил контакты с влиятельными сановниками. Пошатнуть российские позиции ему удалось далеко не сразу; но семя было брошено, способ проникновения в сераль найден, метод разжигания недоверия к России разработан.

Иногда сам Понсонби своим высокомерием и диктаторскими замашками портил дело. В 1836 г. британский журналист Черчилль во время охоты случайно ранил турецкого мальчика. Местные власти обошлись с виновным чрезвычайно круто: Черчилля высекли кнутом и забили в колодки [13, р. 46]. Понсонби вмешался столь энергично, что добился смещения министра иностранных дел Акифа эфенди. Подобная «результативность» демарша посла свидетельствовала о его возросшем влиянии в Константинополе; но, подчинившись его требованиям, диван воспринял эпизод как глубокое унижение, и понадобился какой-то срок, чтобы миновала горечь обиды.

В 1837 г. исключительно для противоборства с Россией было учреждено английское консульство в Белграде. Никаких коммерческих интересов в Сербии у Лондона не существовало. Исследователи подсчитали, что за первую треть XIX в. землю эту посетило десять подданных его величества: семь туристов (из них лишь один пересек страну по суше, а шесть путешествовали по Дунаю), два купца и вездесущий Уркарт [25, р. 18—20]. Официальный мотив открытия британского учреждения в Белграде — необходимость защиты подданных короны — звучал фальшиво, ибо таковые отсутствовали, а торговли не существовало. Назначенному на пост консула полковнику Дж. Ходжесу вменялось в обязанность заниматься делами «скорее политического, нежели коммерческого свойства». Он должен был «пристально следить за любой попыткой русского консула увеличить политическое влияние своего правительства будь то в Сербии или в окружающих районах» [25, р. 42]. Еще откровеннее объяснялся глава Форин оффис в письме, адресованном в октябре 1837 г. послу в Вене сэру Ф. Лему: Сербия должна превратиться в барьер на пути распространения русского влияния на Балканах. Чтобы не раздражать Порту, она не должна была выходить за рамки существовавших отношений (т. е. ограниченного самоуправления). В дальнейшем ей отводилась роль рынка британских товаров.

Задача, поставленная перед Ходжесом, была не из легких. Он обнаружил (сделать это было нетрудно), что в Сербии «все влиятельные лица питают сильнейшую склонность к России». Эти чувства разделяло духовенство и молодые офицеры. Как пишет современный западный исследователь, «в стране в целом преобладали настроения признательности и благодарности к православной державе, которая помогла Сербии в ее борьбе против турок» [25, р. 40]. Надо было отравить это чувство и найти какую-то точку опоры для предпринимаемой интриги широкого масштаба. Ходжес пытался сделать ставку на князя Милоша Обреновича. Тот тяготился опекой России и был рад противопоставить ей другую державу. С другой стороны, стремление Милоша управлять страной методами своего рода патриархального деспотизма, не отягощая себя законами и советами с кем-либо, вызывало протесты. Поднимавшаяся буржуазия, главным образом торговая и сельская, была недовольна полным отсутствием законов о защите жизни и имущества. Оппозиция самовластию князя росла, захватив многих его ближайших сподвижников по восстанию 1815—1817 гг. В Петербурге коварному Милошу не доверяли и сознавали необходимость проведения определенных реформ.

Во время первой же встречи с Ходжесом князь выразил желание отдаться под покровительство «Англии и ее друзей» с целью защиты от «агрессивных» поползновений России. «Антирусски настроенный деспот-принц больше соответствовал интересам Великобритании, нежели олигархия деспотических русских креатур. Из двух зол Ходжес считал князя Милоша меньшим», — пишет Ст. Павлович. [25, р. 49]. Объяснение звучит неуклюже, лица из окружения князя были сторонниками русской ориентации потому, что считали ее соответствующей интересам страны. В итоге складывалась ситуация, которую видные британские историки вспоминают с чувством неловкости: «В Сербии Британия поддерживала авторитарный режим, а Россия — разновидность конституционализма» [6, р. 577—578].

Конечно, и Пальмерстон и Ходжес понимали, что Милошу для укрепления власти нужны подпорки в виде определенных преобразований. Но попытки дипломатов опираться на самовластного князя при оставлении Сербии под эгидой Порты, опасавшейся, что нововведения уменьшат степень зависимости княжества от нее, обрекали их на неудачу. Опытные политики отнеслись к затее Пальмерстона с открытием консульства в Белграде и маневрам Ходжеса скептически: «Без прямых интересов в Сербии, без точек соприкосновения с ней — какую помощь мы можем ей оказать? Если она будет рассчитывать на нас в час нужды, мы наверняка разочаруем ее», — выражал свое мнение посол в Вене сэр Ф. Лем. Он предостерегал министра: «Полковник Ходжес представляется мне деятельным по-

литиком. Вам лучше призвать его к спокойствию» [16, р. 576, 578]. Надо идти другим путем, поощряя Австрию, способствуя укреплению ее позиций: «Если она спасет нас от установления в Сербии русского влияния — это будет все, что можно пожелать», — писал Лем [26, с. 106].

Но Пальмерстон не внимал благим пожеланиям и шел напролом. Ходжес ввязался в сложные, так называемые конституционные переговоры с Милошем и Портой.

Летом 1838 г. он самолично отправился в Константинополь — добиваться вместе с сербскими депутатами некоторого уточнения автономного статуса княжества. Самым страстным желанием сербов было удаление турецкого гарнизона из Белграда. Тут Ходжес натолкнулся на категорический отказ: великий визирь Решид паша ответил ему, что султан не собирается уступать эту крепость. Затем обнаружилось, что привезенные депутацией прошения положены под сукно, зато припасенные (для облегчения дела) двенадцать с половиной тысяч золотых дукатов исчезли без остатка. В течение нескольких месяцев Понсонби и Ходжес тщетно заверяли Порту, что предлагаемые меры не отразятся на степени зависимости Сербии от Константинополя. Уговоры шли и в другом направлении. 28 августа посол направил князю Милошу депешу, в которой расписывал преимущества умеренного конституционализма. Подведение законодательной основы, заверял он князя, укрепит его власть; он советовал уважать независимость суда и свободу торговли, поощрять развитие промышленности и увеличивать свои доходы, добиваясь процветания подданных [25, р. 111]. Уповая на британскую помощь, Милош ответил кратко, обещая прислушиваться к британским наставлениям.

Царский двор с крайней неприязнью следил за подозрительной активностью Пальмерстона в Сербии. В Белграде побывал флигель-адъютант Николая I В. А. Долгорукий, пытавшийся, правда без успеха, отвратить князя от ориентации на Великобританию [27, с. 380—383]. Призрак революции мерещился самодержавию на каждом углу; в 1835 г. оно добилось вместе с Портой отмены Сретенского устава — либеральной конституции, навязанной Милошу местными реформаторами (уставохранителями). К. В. Нессельроде предостерегал против «развития так называемых либеральных идей в Сербии, заимствованных у государств, управляемых представительными учреждениями» [28, с. 22]. Закрепленный в Ункяр-Искелесси и Мюнхенгреце курс на сохранение Османской империи и сотрудничество с Австрией заставлял Петербург держаться сугубо осторожно по отношению к этим двум державам. Но и поощрять самовластье Милоша и мириться с британским политическим вторжением в Сербию, а заодно и подрывать свое собственное влияние, противодействуя развитию сербской государственности, российский МИД не собирался. Надо было изыскивать средний путь.

Посланник А. П. Бутенев энергично вмешался в сербо-турецкие переговоры, проводившиеся под эгидой Понсонби и Ходжеса. Порта решила извлечь пользу из соперничества двух кабинетов, «доверительно» сообщая англичанам тексты демаршей Бутенева и пользуясь их советом при составлении ответов. Не вдаваясь в детали обсуждаемых проектов, скажем лишь, что русская дипломатия хотела с их помощью подорвать позиции Милоша, британская, напротив, укрепить его положение, а турецкая — не только сохранить в своих руках крепости, но и распространить свою власть на прилегавшие к ним территории.

Позиции России в Стамбуле и в самой Сербии были еще столь прочны, что одолеть их одним наскоком не удалось. Понсонби писал своему шефу 12 сентября 1838 г.: «...Русские, думаю, ... меня побьют, ибо Порта не знает, насколько она может рассчитывать на британское правительство, и не пожелает оспаривать волю России» [25, р. 119]. И Пальмерстон признал свое поражение: «Всем очевидно, — инструктировал он Ходжеса, — что географическое положение Сербии позволяет Великобритании оказать активную и эффективную помощь его светлости (Милошу. — В. В.) лишь путем объявления войны России. Не следует, однако, ожидать, что Англия ввяжется в войну с Россией только по вопросу о Сербии» [25, р. 126].

Лондон оставлял своего протеже на произвол судьбы, точнее — сербской оппозиции и поддерживавшей ее России. Ходжес преподавал брошенному князю утешительные советы: быть твердым и благоразумным, не давать Петербургу предлога для нареканий, но и не поддаваться на его давление, сохранять лояльность султану. Подобное поведение, уверял консул, завоеует Милошу поддержку Великобритании и всех верных друзей Османской империи.

В Стамбуле Понсонби советовал турецким сановникам не предпринимать ничего. Но бить отступление по всей линии было уже поздно. Сербские круги, с одной стороны, Бутенев, с другой, настаивали на издании акта, фиксировавшего конституционное устройство княжества. 12(24) декабря 1838 г. был подписан хатт-и-шериф, который провозглашал в Сербии права человека, защиту собственности, отменял всякие остатки феодальных держаний, определял положение государственных служащих. Княжеский титул сохранялся в роде Обреновичей (Россия уступила в этом вопросе). При князе должен был состоять совет, члены которого назначались им самим, но при условии, «чтобы они были достаточно известны между согражданами своими способностями и честностью, оказали какие-либо услуги отечеству и заслужили общее одобрение». Совет вырабатывал законы, не нарушавшие «прав моей Высокой Порты, под властью которой страна состоит», говорилось в хатт-и-шерифе, утверждал все решения князя и вводил налоги [27, с. 507—508]. Ему были подотчетны министры. Члены совета могли смещаться лишь с согласия турецкого дивана за крупные проступки.

В совете представители оппозиции оказались в большинстве. «Морально и политически князь Милош перестал существовать после промулгации хатт-и-шерифа», — писал Ходжес [25, р. 146].

Полковник преувеличивал значение своего поста и роль, которая отводилась Сербии в комплексе балканских забот Форин оффис. Тщетно пытался он возродить у Пальмерстона интерес к сербским делам, уверяя, что княжество будет «навечно потеряно как составная часть Османской империи, если то зло, на которое заставили пойти Блистательную Порту... не будет исправлено физической или дипломатической мощью Великобритании». Милош горько упрекал консула за то, что тот сперва увлек его заманчивыми посулами, а затем покинул (что было похоже на истину) [25, р. 143].

В самой Сербии имя Ходжеса уже ассоциировалось с непопулярным правлением Милоша. Жить ему стало неудобно и даже, по его словам, небезопасно. В апреле 1839 г. полковник покинул ставшую негостеприимной сербскую столицу, сперва под предлогом лечения жены; потом он пожил в Земуне, на австрийской территории недалеко от сербской границы, пока в конце того же года Пальмерстон не перевел его в Египет. Еще раньше удалился в изгнание сербский князь.

Так с треском провалился первый британский наскок на Сербию. Под влиянием английских документов, отражавших досаду за пережитое поражение, Ст. Павлович писал: «Создавалось впечатление, что все лица, пользовавшиеся влиянием в стране, были готовы помочь русскому правительству или по крайней мере дружески расположены к нему, не говоря об общем чувстве благодарности великому православному народу, без помощи которого сербы не смогли бы завоевать себе свободу [25, р. 171]. Противодействовать этому, да еще опираясь на Милоша, «неисправимого деспота старой турецкой школы», значило идти на верный проигрыш. Эта характеристика неточна и односторонна: прогрессивные круги Сербии не скрывали своего недовольства тем, что устав прислан из Стамбула в форме хатт-и-шерифа (в народе его прозвали турецким); лавирование российской дипломатии между сербской оппозицией, Австрией и Турцией лавров ей не принесло, так же как и постоянные выступления против конституционных «эксцессов». Уставобранители продолжали свою активность, не полагаясь больше на помощь извне.

Лондон компенсировал локальную неудачу в Сербии крупным успехом в масштабе всей империи: 16 августа 1838 г. в местечке Балта-Лимац

была подписана англо-турецкая торговая конвенция. Этот скромный по названию документ знаменовал веку в истории Османской державы, англо-турецких отношений и международной обстановки в обширном регионе, включавшем Юго-Восточную Европу, значительную часть Средиземноморья и Ближний Восток.

Английские торговые и финансовые круги с живейшим вниманием следили за экспортным бумом во владения полумесяца [1, с. 8]. Мысль о том, чтобы подвести под него договорную основу, чтобы политическими средствами проторить дорогу своим товарам, занимала все более широкие круги Сити. Влиятельные газеты «Блэквуд'с» «Эдинбург ревью», «Куотерли» настаивали на активизации коммерческой политики [22, р. 43].

С 1836 г. английское посольство в Стамбуле приступило к систематическому давлению на Порту. Задача была не из легких: соприкосновение британского капитала с рутинно-восточной, традиционно-феодалной экономикой не могло обойтись для нее без серьезных последствий. Продолжали сказываться традиции мусульманского изоляционизма. Существовали опасения противодействия со стороны России. Махмуд II долго не решался дать санкцию на переговоры. Колебания его прекратились по соображениям не глубинного, реформаторского, а конъюнктурно-политического характера, исходили из страстного желания сокрушить ненавистного Мехмеда Али с британской помощью. В Лондоне легко нащупали эту слабую точку и использовали ее, заверяя, что конвенция, которая распространялась и на Египет, подрвет основы экономического могущества мятежного паши. Первый секретарь посольства Г. Булвер, непосредственно ведущий переговоры, полагал, что для заключения акта, дающего иностранцам широкий набор торговых привилегий в Турции, чреватого сокрушением «туземной промышленности», надо ожидать чрезвычайно благоприятного момента [13, р. 79—80].

Переговоры шли в глубокой тайне; достаточно сказать, что А. П. Бутнев находился в длительном отпуске, и обычное «наблюдение» с русской стороны за процедурами дивана не осуществлялось. Политическую сторону торгового соглашения в Петербурге явно недооценили.

Договор носил ярко выраженный неравноправный характер. Обязательства налагались только на Порту; о турецкой торговле в Великобритании не упоминалось даже для приличия — впопыхах Булвер забыл о желательности соблюдения некоторых форм (или проформ). Первая статья соглашения предусматривала сохранение всех прежних прав, привилегий и иммунитетов, зафиксированных в капитуляциях (включая консульскую юрисдикцию). Размер ввозных пошлин устанавливался в 5%; практически во всей Османской империи вводилась свобода торговли для британских товаров, ибо размер таможенных сборов устанавливался для них чисто символический. Потерю доходов от ввоза турецкая казна возмещала за счет более высоких вывозных пошлин, составлявших 12%.

Британская коммерция столкнулась тогда с серьезными трудностями в Европе: одно правительство за другим, заботясь об интересах национальной индустрии, ограждало свои границы таможенной стеной. Не составляла исключения и Россия¹⁰. Османские сановники, напротив, распахивали перед британскими товарами ворота своего рынка. Справедлив поэтому вывод советских исследователей: «Договор 1838 г. явился важным орудием закабаления Турции и превращения ее в полуколонию империалистических держав» [26, с. 70]. Самую резкую характеристику дают ему турецкие историки разных направлений: «Великий Решид паша подписал Турции смертный приговор», — считает Д. Авджиоглу [29, с. 74]. Османской «империи с ее отсталой феодальной структурой была навязана свобода торговли с Британией, переживавшей индустриальную революцию», турецкие купцы оказались в неконкурентноспособной пози-

¹⁰ Британский экспорт в Османскую империю в 1827—1846 гг. вырос в пять раз, в Россию — с 1,2 до 1,7 млн. ф. ст. Вывоз в турецкие владения сравнивался с вывозом во Францию и на одну треть превзошел экспорт в Россию [22, р. 219].

ции, — пишет Q. Коймен [30]. В Турции бытует мнение, что договор явился главной причиной прогрессирующей отсталости Османской державы.

Советские тюркологи вносят в эту несколько одностороннюю оценку свои коррективы, отмечая, что акт 1838 г. объективно заключал в себе определенный антифеодальный заряд. Он содержал следующее важное условие: «Блистательная Порта формально обязуется отменить все монополии на сельскохозяйственные или любые иные продукты, а также разрешения местных властей будь то на покупку каких-либо товаров или на перевозку приобретенных из одного места в другое» [11, р. 41]. В тридцатые годы XIX в. в султанской державе были еще широко распространены унаследованные от средневековья государственные монополии (единый налог), т. е. скупка определенных видов продовольствия и сырья по заниженным ценам; осуществлялась эта операция через откуп (ильтизам), приводя к обогащению алчных откупщиков и разорению населения. Договор 1838 г. отменял эту пагубную систему. Турецкие реформаторы, не имевшие сколько-нибудь прочной социальной базы, призывали себе на помощь британский капитал. Поток товаров с клеймом «Made in England» должен был смести феодальные пережитки, на которые они сами не смели посягать: обычай устанавливать на местах дополнительные поборы за покупку и перевозку товаров, систему цехов-эснафов, существовавшую в ремесленном производстве.

Поступления от монополий являлись одним из основных средств пополнения египетской казны: из 311 млн пиастров доходной части бюджета 84,5 млн приходилось на эту статью¹¹. В сокрушении монополий хитрый и решительный старый султан видел «...средство посеять рознь между Европой и своим мятежным вассалом» [13, р. 83].

Рассматривая договор в целом, советские тюркологи упоминают о таких его последствиях, как рост торгового оборота, таможенных доходов, развитие товарно-денежных отношений [29, с. 75]. Но в зависимой от западноевропейского капитала стране все это могло происходить в ограниченных пределах. И какой ценой? Договор 1838 г. лишил Турцию будущего, ее промышленность была задрана в колыбели, ей не оставили даже надежды на превращение в развитое капиталистическое государство. И под таким приговором расписались патриотически настроенные реформаторы во главе с Решидом пашой. Это можно объяснить только ограниченностью их кругозора. Выступая за модернизацию и европеизацию государственного, экономического и общественного строя своей родины, они не видели пружин развития капиталистической экономики и просто душно залезли в британский капкан. Надежда на немедленные выгоды заслонила перспективу развития.

Закрепляя сближение с Турцией, Пальмерстон прислал к устью Дарданелл эскадру в 11 вымпелов. Понсонби просил разрешения впустить хотя бы 5—6 кораблей в пролив — якобы для того, чтобы парализовать не существовавшие «антитурецкие проекты» России. Порта не решилась санкционировать подобную провокацию. Да и адмирал Стопфорд, высказавшись против входа в Дарданеллы, проявил больше благоразумия, нежели обуреваемый русофобией дипломат. После настойчивых демаршей Бутенева Стопфорд со своими судами отплыл к о-ву Родос; затем состоялись совместные англо-турецкие морские маневры. Одновременно (сентябрь — октябрь 1838 г.) 15 русских военных кораблей крейсировали по Черному морю [13, р. 94—97]. Эти параллельные и взаимноугрожающие учения флотов явились зримым признаком отхода Порты от оборонительного союза с Россией. То обстоятельство, что царь не пошел на обострение отношений, «когда турки явно действовали под британским руководством» [6, р. 614], в Стамбуле сочли проявлением слабости. Султанский режим, стремясь взять реванш за поражение в столкновении с Египтом в 1833 г. и поставить Мехмеда Али на колени, сам перечеркнул выгоды сотрудничества с Россией и переориентировался на Великобрита-

¹¹ Данные на 1835 г. Военные расходы Мехмеда Али составили тогда 145 млн. пиастров [13, р. 73].

нию. Это была вторая жертва, принесенная на алтарь конъюнктурных политических расчетов, причем, как оказалось, жертва напрасная.

В ноябре 1838 г. Решид пашу снарядили в Лондон заключать наступательный союз против Мехмеда — непосредственно, против России — эвентуально. В британской столице, однако, не проявляли желания ввязываться в войну ради престижа падишаха. Полгода пришлось турецкому посланцу ждать ответа. Лишь в марте 1839 г. Пальмерстон сообщил ему о принципиальном согласии кабинета на оборонительный договор (причем Англия обещала лишь совместные действия флотов в случае нешокорства египетского владыки; о возвращении Сирии под власть султана не говорилось ни слова) [6, р. 616]. Узнав о британском контрпроекте, турецкий министр иностранных дел Нури паша заявил, что любое предложение, не предусматривающее сокрушения Мехмеда Али, для Порты бесполезно. В обиде диван отказался от услуг английских морских офицеров. 21 апреля 1839 г. турецкая армия переправилась через Евфрат и открыла военные действия против египтян. Порта, очертя голову, ринулась в новую ближневосточную авантюру.

Однако на сей раз новый кризис не повлек за собой подрыва британских позиций в Османской империи. Англо-турецкие отношения переживали в дальнейшем зигзаги, периоды подъема и спада; но поворотов уже не было. Порта поплыла в русле британской политики, прорывом торговым договором 1838 г.

Взлет российского влияния в Константинополе, последовавший за Ункяр-Искелесийским договором, продолжался недолго. В 1838 г. начался его закат. Можно спорить о степени и этапах этого падения, но сам факт несомненен. При этом никаких поражений за столом переговоров или в ходе переписки русская дипломатия не потерпела. Действовали силы, ей не подвластные. Внешнеполитический курс отсталого, реакционно-крепостнического государства столкнулся с курсом передовой капиталистической страны, располагавшей арсеналом мощных недипломатических средств: промышленностью, способной заполнить османский рынок своими товарами, практически неисчерпаемыми финансами, флотом, контролировавшим основные морские пути, идеологическим арсеналом, привлекательным для турецких реформаторов. Все это Петербург мог противопоставить опиравшееся на международные акты влияние и игру на обострившихся турецко-египетских противоречиях. Подпись под Ункяр-Искелесийским договором со стороны Порты не была чистосердечной. Она не верила в субъективно искренние заверения царизма, ибо соотносила их со всем ходом исторического процесса на Балканах, с могучими ударами, нанесенными Россией ее господству в регионе. Даже наиболее умеренный вариант царской политики — поддержание существования Османской империи, принятый после заключения Адрианопольского мира 1829 г., практически осуществленный в 1833 г. и закрепленный в Ункяр-Искелесси, вовсе не был равнозначен англо-австрийской доктрине сохранения *status quo* в Юго-Восточной Европе. Пальмерстон и Меттерних желали продлить насколько возможно существование «больного человека»; Николай Павлович стремился, чтобы «болезнь» протекала под его наблюдением и чтобы он имел решающий голос при обсуждении вопроса о наследстве после агонии. Российская дипломатия никогда не давала гарантий целостности владений османов. Царизм хотел взять под свой контроль процесс их распада. Политика Петербурга порождалась желанием иметь слабого соседа; перспектива создания сильного мусульманского государства во главе с Мехмедом Али или выходом из его династии на месте одряхлевшей державы Османов представляла угрозу этим планам.

В Константинополе считали «новый курс» Петербурга тактической передышкой перед очередным натиском и искали покровителей побезопасней; в обострившемся соперничестве держав там увидели прежде всего возможность игры на их противоречиях. Вполне реальные выгоды для Турции, открытые Ункяр-Искелесийским договором, действие которых отнюдь не было исчерпано к 1838 г., — определенная стабилизация поло-

жения, ликвидация непосредственной угрозы со стороны Египта, создание более или менее спокойной и благоприятной обстановки для проведения внутренних преобразований — были принесены в жертву реваншистским планам сведения счетов с Мехмедом Али. Порта оказалась неспособной использовать благоприятный для нее поворот во внешней политике России и доверчиво залезла в британские тенета. Турецкие сановники не были искушены в способах подчинения, открывавшихся перед могучим капиталистическим государством в его отношениях с отсталой, находившейся в стадии разложения феодальной формации страной. Патриотически настроенный Решид паша, ставя свою подпись под торговой конвенцией 1838 г., не подозревал, что делает шаг к потере экономической и политической самостоятельности родины.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Виноградов В. Н.* Восточный вопрос и англо-русские отношения в 30-е годы XIX в. — Советское славяноведение, 1982, № 1.
2. Архив внешней политики России (АВПР), фонд Канцелярия.
3. *Кияшпина Н. С.* Ункяр-Искелесийский договор 1833 г. — Научные доклады высшей школы. Исторические науки, 1952, № 2.
4. *Еремеева Т. В.* Египетский кризис 1831—1833 гг. и великие державы. — Уч. зап. по новой и новейшей истории, т. II. М., 1956.
5. *Муравьев Н. Н.* Турция и Египет в 1832 и 1833 гг. Т. I—IV. М., 1869.
6. *Ch. Webster.* The Foreign Policy of Palmerston 1830—1841. London, 1969.
7. *Муравьев Н. Н.* Русские на Босфоре. СПб., 1869, с. 55.
8. АВПР, фонд Отчеты.
9. *Горяинов С.* Босфор и Дарданеллы. СПб., 1907.
10. *Тодорова М.* Англия, Русия и танзиматът. София, 1980.
11. *Hurewitz J. C.* Diplomacy and the Near and Middle East. New York, 1972.
12. Восточный вопрос во внешней политике России. Конец XVIII — начало XX в. М., 1978.
13. *Ruygear V.* International Economics and Diplomacy in the Near East. Stanford, 1935.
14. *Мартенс Ф. Ф.* Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами.
15. *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч., т. 9, с. 202.
16. *Дулина Н. А.* Османская империя в международных отношениях (30—40-е годы XIX в.). М., 1980.
17. *Temperley H.* England and the Near East. The Crimea. London — New York — Toronto, 1936.
18. The Mirror of Parliament, LII, 3 VIII 1833. London, s. 2874—2875.
19. *Татищев С. С.* Внешняя политика императора Николая I. СПб., 1887, с. 382.
20. История дипломатии. Т. I. М., 1941, с. 420.
21. *Bourne K.* The Foreign Policy of Victorian England. Oxford, 1970, p. 222.
22. *Bailey F. E.* British Policy and the Turkish Reform Movement. Cambridge (USA), 1942.
23. *Crawford H. W.* Russia's Fleet in the Baltic in 1836. London, [1836].
24. *Дулина Н. А.* Изменения в османской дипломатии (30-е годы XIX в.). — Тюркологический сборник. М., 1975.
25. *Pavlowitch St. K.* Anglo-Russian Rivalry in Serbia 1837—1839. Paris — La Haye, 1961.
26. *Достян И. С.* Англо-русское соперничество на Балканах в 30-е годы XIX в. и Сербское княжество. — В кн.: «Дранг нах остен» и историческое развитие стран Центральной, Восточной и Южной Европы. М., 1967.
27. *Попов Н.* Россия и Сербия. Ч. I. М., 1869.
28. *Достян И. С.* К вопросу об англо-русском соперничестве в Сербском княжестве в 30-е годы XIX в. — Советское славяноведение, 1966, № 6, с. 20, 22.
29. *Дулина Н. А.* Англо-турецкий договор 1838 г. и его влияние на экономическое развитие Османской империи. — Народы Азии и Африки, 1976, № 3.
30. *Köyten O.* The Advent and Consequences of Free Trade in the Ottoman Empire. — Etudes Balkaniques, 1971, № 2, p. 49.



СУМАРОВА М. М.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Ф. ФИЛИПОВИЧА В РОССИИ (1904—1912)

Филип Филипович (Божко Бошкович) — видный деятель сербского, югославского и международного рабочего и коммунистического движения, один из основателей и руководителей компартии Югославии. Значительную часть жизни он провел в России, которую считал своей второй родиной¹.

В настоящей статье сделана попытка осветить некоторые моменты биографии Ф. Филиповича, связанные с его педагогической и научной деятельностью в Петербурге в 1904—1912 гг. В процессе работы над статьей были просмотрены материалы фондов министерства юстиции и департамента полиции в Центральном государственном архиве Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления СССР (ЦГАОР СССР), фонда Славянский стол в Архиве внешней политики России (АВПР), выходявшие в те годы журналы «Русская школа», «Техническое и коммерческое образование», «Вестник опытной физики и элементарной математики», «Математическое образование», «Вестник воспитания», «Обновление школы» и др., изучены стенографические отчеты и труды всероссийских съездов по педагогической психологии, учителей городских училищ, преподавателей математики, труды петербургских курсов для учителей средней школы, отчеты о деятельности Петербургского университета, Петербургского общества народных университетов, Педагогического музея военно-учебных заведений в Петербурге. В результате поиска было выявлено более 20 ранее не известных статей, докладов, сообщений, выступлений в прениях, рецензий, аннотаций и писем Ф. Филиповича, а также 10 отзывов на его работы.

Филип Филипович приехал в Россию в 1899 г. и поступил на математическое отделение физико-математического факультета Петербургского университета. Окончив университет в 1904 г. с дипломом первой степени², он остался в Петербурге и занялся педагогической деятельностью — преподавал математику в женском коммерческом училище при «Доме Анатолия Демидова» [3, Д7, оп. 1905 г., д. 5568, ч. 28, л. 1].

¹ «Петербург (Россия). — писал Ф. Филипович матери в январе 1912 г., — стал мне второй родиной» [1, с. 189].

² Диплом об окончании Петербургского университета был присужден Ф. Филиповичу 30 мая, а получен им — 17 октября 1904 г. Как следует из найденных документов, Филипович не располагал тогда необходимыми средствами, чтобы заплатить за последний семестр обучения в университете и за диплом. В своем прошении в Совет Петербургского славянского благотворительного общества, которое неоднократно оказывало ему материальную помощь в период учебы, Филипович 14 июня 1904 г. писал: «Окончив в этом году Спб. университет — физико-математический факультет по первому разряду, я намерен теперь уехать на родину. А для того, чтобы уехать в Сербию, я должен взять диплом, что сопряжено с некоторыми препятствиями для меня. А именно: я до сих пор не внес плату в Спб. университет за VIII полугодие в размере 50 рублей из-за неимения денег. Кроме того, мне следует уплатить 20 рублей за диплом» [2].

Ф. Филипович участвовал в революционном движении, являлся членом петербургской социал-демократической организации³. В ночь на 14 сентября 1905 г. в его квартире был произведен обыск и обнаружено, согласно донесению градоначальника Петербурга, свыше 3 тыс. экземпляров различных революционных изданий, предназначенных для распространения среди рабочих Василеостровского района столицы [3, ДО, оп. 1905 г., д. 5, ч. 1, литер А, т. 2, л. 94]. Ф. Филипович был арестован и помещен в одиночную камеру тюрьмы «Кресты». 14 октября состоялся его допрос. После издания царского манифеста от 17 октября 1905 г. дознание по делу Филиповича 22 октября было прекращено [3, Д7, оп. 1905 г., д. 5568, ч. 28, л. 2 об.; д. 5568, л. 2].

Выйдя на свободу, Ф. Филипович продолжал педагогическую деятельность. Согласно приказу попечителя Петербургского учебного округа⁴, ему было разрешено преподавать математику в частной женской гимназии Песковской⁵.

В это время широкий размах приобрело в России усилившееся под влиянием революции 1905—1907 гг. движение за коренную перестройку всей системы народного образования. Прогрессивная общественность требовала ликвидации насаждавшегося царским самодержавием полицейско-бюрократического режима в учебных заведениях, изменения содержания обучения и его методов, обеспечения связи школы с жизнью. Передовое учительство призывало преодолеть рутину старой школы и реализовать на практике все то ценное, что дала педагогическая мысль. Оно выступало за организацию новых, «вольных» школ, которые стали бы своеобразными экспериментальными базами для проверки эффективности новейшей методики преподавания, направленной на воспитание гармонически развитой личности. Горячими поборниками такого рода школ были С. И. Шохор-Троцкий, К. Ф. Лебединцев, Н. А. Томилин и другие видные педагоги. При поддержке прогрессивных кругов были созданы средние школы нового типа — гимназия Лентовской, Преображенская и Василеостровская новые школы. Их преподавательские коллективы стремились осуществлять такие важные принципы, как сближение образования с жизнью, совместность обучения, введение трудового начала, самоуправление учащихся, взаимодействие школы с семьей и др. Большое внимание уделялось личности ребенка, изучению его психологии, учету возрастных и индивидуальных особенностей, повышению активности и инициативы учеников, развитию их физических и умственных способностей. Отличительными чертами школ нового типа являлись коллегиальность руководства, выборность всего педагогического состава, включая директора, привлечение к управлению школой родителей и учащихся. В целях совершенствования учебно-воспитательного процесса разрабатывались новые планы и программы, изменялись содержание обучения и методические приемы. Важное значение придавалось самостоятельной деятельности учащихся, проведению практических и лабораторных работ, наглядности обучения, устройству экскурсий на предприятия и в учреждения, оборудованию кабинетов и мастерских для занятий слесарным, столярным, переплетным, швейным делом. В этих учебных заведениях были образованы предметные комиссии, в которые входили наряду с преподавателями данной школы, учителя других школ и специалисты в той или иной области знаний. Комиссии занимались разработкой новых программ и методик обучения, их научным обоснованием, добивались преемственности учебных планов, доступности для учащихся учебного материала [8].

³ Подробнее о революционной деятельности Ф. Филиповича в России см. [4—6].

⁴ 20 октября 1906 г. попечитель Петербургского учебного округа обратился в отделение по охране общественной безопасности и порядка в столице с запросом о политической благонадежности сербского подданного Филипа Филиповича на предмет допущения его к преподавательской работе [3, Д3, оп. 1906 г., д. 26, ч. 1, л. 215—216, 219].

⁵ Ф. Филипович преподавал в этой гимназии с 20 октября 1906 г. по 10 октября 1908 г. [7, 1906, № 12, с. 494; 1908, № 11, с. 449].

С весны 1907 г. при Отделе средней школы Петербургского педагогического общества начали функционировать комиссии по отдельным предметам школьного обучения. В них входили С. Ф. Знаменский, В. К. Лебединский, Д. М. Левитус, С. И. Шохор-Троцкий, Э. Ф. Лесгафт, Ф. Филипович и другие петербургские преподаватели. Из всей суммы вопросов, связанных с постановкой преподавания различных школьных дисциплин, члены комиссий выделили наиболее существенные и предложили обсудить их в ходе работы очередных петербургских летних курсов для учителей средней школы⁶. Они составили специальные вопросники, которые были разосланы в учебные заведения страны и, кроме того, напечатаны в журналах «Русская школа», «Просвещение» и «Учитель», подготовили материалы для бесед с учителями, наметили тематику основных докладов. Решено было организовать при курсах небольшую выставку наглядных пособий, а также книг, отражавших новые веяния в педагогике. Ф. Филипович вошел в состав так называемой библиотечной комиссии [9, с. 359].

Курсы открылись 5 июня 1907 г. и продолжались 20 дней. Занятия проходили в помещении Петербургского университета. Среди 508 слушателей были представители не только Петербурга, центральных областей, но и Кавказа, Сибири и Средней Азии. Ф. Филипович участвовал в работе секции математики, руководителем которой был С. И. Шохор-Троцкий. 20 июня Филипович председательствовал на заседании секции, а на следующий день выступил в дискуссии по докладу Д. М. Левитуса, посвященному курсу алгебры в средней школе, выразив согласие с докладчиком относительно целесообразности распределения учебного материала по мере его усложнения и при соблюдении принципа от конкретного к абстрактному [9, с. 383]. В отчете о работе секции математики, в частности, говорилось: «Через все доклады и собеседования проходило красной нитью одушевлявшее членов секции сознание полной необходимости коренным образом реформировать курс математики, проходимый в средних учебных заведениях, в отношении содержания курса, в отношении распределения учебного материала по годам, далее в отношении большего объединения различных отделов и взаимного их переплетения в курсе и, наконец, в отношении способов преподавания, страдающих многими недостатками» [9, с. 358]. От имени руководства курсов Ф. Филиповичу была объявлена благодарность «за организацию библиотеки иностранных книг по низшей и отчасти высшей математике» [9, с. 387—388].

В октябре 1907 г. после годичного перерыва возобновилась деятельность Отдела математики Педагогического музея военно-учебных заведений в Петербурге⁷. Председателем президиума отдела был директор Педагогического музея генерал-лейтенант З. А. Макшеев, секретарем — Д. М. Левитус. В работе отдела принимали участие проф. А. В. Васильев, проф. П. А. Шифф, Д. Э. Теннер, С. И. Шохор-Троцкий, Н. К. Давыдов, Б. А. Маркович, В. Р. Мрочек и др. Все они считали необходимым улучшить постановку преподавания математики в средних учебных заведениях. На заседаниях отдела заслушивались доклады и сообщения о проектах новой программы по математике, о постановке ее преподавания за рубежом, разбирались достоинства и недостатки учебников и наглядных пособий.

С начала 1908 г. в деятельности этого отдела стал принимать участие Ф. Филипович. На заседании 25 января он рассказал о методике преподавания математики в школах Сербии [10, с. 18—19]. Ф. Филипович участвовал в обсуждении книг С. И. Шохор-Троцкого «Геометрия на задачах» (М., 1908) и А. Киселева «Элементарная геометрия» (М., 1908) [10, с. 25; 11, с. 14].

В период первой русской революции интенсивно создавались народные университеты — общественные культурно-просветительные учреждения,

⁶ Впервые такие курсы были организованы в июне 1906 г.

⁷ Отдел математики, функционировавший с 1885 г., приостанавливал свою деятельность в 1906 г.

«...Одна наглядность недостаточна; физиологические потребности детей требуют соединения умственной работы с физической, — отмечалось в докладе. — Вот почему в школе вводится ручной труд, вот почему наглядная метода обучения уступила место лабораторной» [15, с. 312].

По докладу В. Мрочка и Ф. Филиповича развернулись прения. Признавая в целом эффективность экспериментального метода обучения, некоторые из выступавших указывали на трудности его осуществления на практике: отсутствие опыта, методических пособий, разработок и т. д. Им казалось, что докладчики несколько недооценивали логический аспект в освоении учебного материала. Отвечая на замечания оппонентов, Ф. Филипович сказал, что считает обязательным развитие абстрактного мышления у школьников, но в младших классах, по его мнению, следовало начинать с анализа фактов, доступных непосредственному восприятию, и, показав практическое назначение математики, пробудить к ней интерес, а этому как раз и должен был способствовать лабораторный метод обучения. «Основная идея трактуемого нами метода, — подчеркнул он, — это развитие пространственных представлений у учащихся при преподавании геометрии и внесение понятия о закономерности при преподавании других отделов математики» [15, с. 318].

Участники съезда приняли предложение В. Мрочка и Ф. Филиповича включить в резолюцию специальный пункт о целесообразности использования преподавателями математики лабораторного метода обучения. «В преподавании математики в начальных и средних школах, — говорилось в решении съезда, — необходимо придерживаться не только принципов наглядности и доступности, но и принципа психо-физического, а именно: не одно только зрение, но и другие чувства должны участвовать в выработке понятия о числе. (Эти принципы и составляют основание лабораторной методы в преподавании)» [15, с. 374].

7 июня 1909 г. в Петербурге в здании Технологического института открылся Первый всероссийский съезд учителей городских училищ, созданный Обществом взаимной помощи бывших воспитанников Петербургского учительского института. В отчете оргкомитета отмечалось «чрезвычайно сочувственное отношение к съезду» со стороны многих преподавателей столицы, среди которых были названы Ф. Филипович и В. Мрочек [16, с. 12]. Для участников съезда была организована специальная выставка, знакомившая их с постановкой учебно-воспитательной работы в городских училищах и с лучшими учебными пособиями. Ф. Филипович входил в состав Выставочной комиссии и непосредственно занимался комплектованием экспонатов отдела математики [16, с. 13].

На первом заседании секции математики 8 июня обсуждался доклад В. Мрочка и Ф. Филиповича о реформе преподавания математики [16, с. 30—58]¹⁰. В нем кратко излагалась история развития педагогической мысли в области математики, отмечалось, что в последние 10—15 лет выдающиеся ученые и общественные деятели США, Англии, Германии, Франции, Австрии и других стран, учитывая потребности жизни, настаивают на радикальной реформе преподавания математики в средней школе. Указав на актуальность постановки этого вопроса в России, докладчики выдвинули ряд конкретных предложений. По их мнению, следовало исключить из школьного курса математики весь устаревший материал, не соответствующий уровню развития техники и естественных наук, а также материал, который не находился в органической связи с прежними познаниями учащихся или не служил исходным моментом для новых познаний.

Выступивший в прениях В. Мрочек отметил важность приобретения учениками навыков самостоятельной работы, сочетания мыслительных операций с физическими действиями в целях повышения продуктивности познавательного процесса, организации экскурсий в финансовые учреждения и на промышленные предприятия для ознакомления учащихся с применением математических знаний на практике [18, с. 5, 9]. Ф. Филипович

¹⁰ Идентичный текст был напечатан в журнале «Русская школа» [17, 1910, № 1, с. 174—203].

добавил, что лабораторный метод обучения поможет лучшему усвоению учебного материала и сближению математики с жизнью [18, с. 10—11].

9 июня Ф. Филипович принял участие в обсуждении доклада Б. А. Марковича «Критика основ геометрии», «Хочется верить,— сказал он,— что и у нас в России, как за границей, появятся в скором времени новые учебники и руководства по математике, которые будут в большей степени помогать распространению новых методов школьной математики» [18, с. 13].

В тот же день Ф. Филипович выступил с докладом «Наглядная геометрия и систематический курс геометрии в связи с элементами тригонометрии»¹¹. В нем, в частности, говорилось о целесообразности деления курса геометрии на два последовательных цикла: первый включал бы экспериментальную геометрию, а второй — ее систематический курс с началами тригонометрии. Ф. Филипович ратовал «за сближение геометрии с практическими знаниями» [18, с. 18].

В секции математики была принята резолюция, в которой обобщались предложения, идеи и выводы из заслушанных докладов, содержались рекомендации знакомить учащихся «с применением математики к изучению явлений природы и современной техники», шире использовать наглядные пособия и лабораторные методы обучения, опираться в своей деятельности на важнейшие принципы психологии и дидактики [18, с. 27]. На последнем заседании секции математики, состоявшемся 13 июня, была выражена благодарность Б. А. Марковичу, Н. А. Томилину, Ф. Филиповичу и В. Мрочеку, «принявшим в работах съезда горячее участие» [18, с. 29].

После закрытия съезда Ф. Филипович вел занятия на петербургских летних учительских курсах [19, с. V]. Осенью 1909 г. он поступил на работу в качестве преподавателя математики 7—8-х классов в Преображенскую новую школу. Войдя в состав действовавшей там математической комиссии, Ф. Филипович принял участие в разработке программ по математике для двух подготовительных и восьми основных классов¹². Своим опытом преподавания по новой программе в Преображенской новой школе он поделился позднее с трибуны Первого всероссийского съезда преподавателей математики [20, с. 115].

В 1910 г. в Петербурге вышел в свет первый том совместной книги В. Мрочка и Ф. Филиповича «Педагогика математики. Исторические и методические этюды» тиражом 4 тыс. экземпляров¹³. В предисловии к ней, написанном в марте 1910 г., авторы подчеркивали, что наступившая эпоха, которую они называли эпохой 1905 г., выдвинула «устаами передовой демократии необходимость коренной ломки старой школы» [19, с. IV]. Важнейшая цель реформы школьного обучения заключалась, по их мнению, в том, чтобы школа давала учащимся практические знания, необходимые в жизни. Их книга преследовала цель ознакомить всех интересующихся с достижениями в области педагогики в целом и педагогики математики, в частности. Она состояла из двух частей. В первой части был дан краткий очерк истории педагогики математики с VI в. до н. э. и до 1909 г., раскрыты сущность и значение наглядного и лабораторного методов обучения, показана важность учета психологии ребенка и основных принципов педагогики в школьном воспитании. Во второй части книги содержались обоснования начального курса арифметики, геометрии и алгебры. Каждая часть была снабжена указателем литературы. В заклю-

¹¹ В изданных материалах съезда опубликованы только тезисы доклада Ф. Филиповича. В предисловии редакции указывалось, что текст этого доклада, как и некоторых других выступлений, не был своевременно представлен [18, с. 3—4].

¹² Программы, разработанные этой комиссией, приведены в статье Ф. Филиповича «К реформе обучения математике (С приложением новых примерных программ)» [14, 1911, № 4, с. 23—26].

¹³ Эта работа обсуждалась на одном из заседаний Отдела математики Педагогического музея военно-учебных заведений. Положительный отзыв на нее был дан С. И. Шохор-Троцким. Отдел рекомендовал книгу В. Мрочка и Ф. Филиповича для фундаментальных библиотек средних учебных заведений [21, с. 4].

чении авторы сообщали о своем намерении продолжать начатую работу и подготовить к печати второй том «Педагогика математики», в котором собирались осветить ряд вопросов, связанных с содержанием и методикой преподавания курса элементарного анализа, начертательной и аналитической геометрии, дифференциального и интегрального исчисления, начал теории вероятности и др. [19, с. 374] ¹⁴.

Книга В. Мрочка и Ф. Филиповича вызвала живой интерес среди педагогов и научных работников. На нее появилось много рецензий и аннотаций ¹⁵. Не все рецензенты были единодушны в оценке этой работы. Отметив, что в области преподавания математики еще множество спорных и совсем не разработанных проблем, И. Цветков писал: «„Педагогика математики“ должна привлечь к себе внимание всех, заинтересованных в реформе обучения, как своим широко и верно задуманным планом, так и решительной, не допускающей двояких толкований, постановочной принципиальных вопросов» [17, 1911, № 2, с. 18]. Рецензент, подписавшийся «А. Г.», отмечал, что в условиях, когда даже высшие учебные заведения не дают элементарных педагогических знаний и отсутствует самая необходимая литература по методике преподавания, книга В. Мрочка и Ф. Филиповича в известной мере восполняет этот пробел и, несомненно, будет полезна не только специалистам в области математики, но и всем тем, кому «дорога живая, не схоластическая постановка преподавания вообще» [14, 1911, № 2, с. 74]. В ряде отзывов отмечались новаторский характер работы, актуальность поставленных в ней вопросов, интересный и ярко изложенный фактический материал, прекрасный указатель отечественной и зарубежной литературы, искренняя увлеченность авторов проблемой перестройки школьного образования.

В конце 1910 г. в журнале «Вестник опытной физики и элементарной математики», выходящем в Одессе, появилась заметка о книге В. Мрочка и Ф. Филиповича известного методиста-математика К. Ф. Лебединцева [22, 1910, № 524]. Признавая сложность стоявшей перед авторами задачи — показать важнейшие черты новой методики преподавания математики, опираясь на достижения научной и педагогической мысли, а также указав на неразработанность этой темы, К. Ф. Лебединцев вместе с тем упрекал авторов в субъективистском подходе к отбору фактического материала, в излишней категоричности суждений и односторонности оценок. Рецензия была написана в столь резком тоне, что редактор журнала приват-доцент В. Ф. Каган счел необходимым сопроводить ее собственным примечанием, в котором заявил, что, соглашаясь почти со всеми сделанными рецензентом критическими замечаниями, все же считает эту работу полезной и рекомендует ее русскому читателю ¹⁶.

В связи с публикацией отзыва К. Ф. Лебединцева В. Мрочек и Ф. Филипович обратились с письмом в редакцию журнала, в котором отмечалось: «Мы не даем рецептов, мы отвергаем методические уставы на каждый день, на каждый час, которые сковывают самостоятельность учителя и в погоне за техникой убивают в нем художника, творца. Пусть ошибаемся мы,

¹⁴ Второй том этой книги не вышел.

¹⁵ Рецензии и аннотации были опубликованы в следующих журналах и газетах: «Русская школа», 1911, № 2; «Техническое и коммерческое образование», 1911, № 2; «Вестник воспитания», 1911, № 2; «Вестник опытной физики и элементарной математики», 1910, № 524 и 1911, № 531; «Математическое образование», 1913, № 2; «Педагогический листок», 1913, № 5; «Известия по народному образованию», 1912, № 7; «Утро России», 1911, № 278 и др. Краткая характеристика книги В. Мрочка и Ф. Филиповича была дана в библиографическом указателе, помещенном в «Педагогическом календаре-справочнике на 1911—1912 учебный год», изд. 2-е, часть II. Петербург — Киев, 1911, с. 230.

¹⁶ «У нас, — писал В. Ф. Каган, — литература по методике математики чрезвычайно бедна, а в последнее время и совсем почти не появлялось серьезных сочинений по этому предмету. Книга г.г. Мрочка и Филиповича знакомит читателя с различными течениями, господствующими теперь на Западе, и эта литература изучена авторами обстоятельно. Независимо от того, всегда ли можно согласиться с их выводами, пишущий эти строки читал эту книгу с интересом и полагает, что ее следует — при полном признании указанных недостатков — рекомендовать русскому читателю» [22, 1910, № 524, с. 212].

пусть в подобных исканиях ошибаются другие, но эти ошибки указывают путь и облегчают работу новым поколениям» [22, 1911, № 529, с. 20].

В этот период Ф. Филипович продолжал вести большую педагогическую и научную работу. Он преподавал математику в Преображенской новой школе, Демидовской женской гимназии и женской гимназии Ивановой, а с начала сентября 1910 г. — в петербургском Учительском институте [7, 1910, № 9, с. 317]. В 1911 г. Ф. Филипович стал членом Петербургского педагогического общества взаимной помощи [23].

Осенью 1910 г. в качестве представителя общелекторского собрания Ф. Филипович вошел в учебный отдел совета петербургского Общества народных университетов¹⁷. Вместе с другими членами этого отдела он занимался рассмотрением программ, представленных лекторами и учреждениями Общества, разработкой плана краткосрочных лекционных курсов для районных аудиторий и единого плана учебно-просветительной деятельности [24, с. 5; 25]. В Отделе математики Педагогического музея военно-учебных заведений им был прочитан доклад «История пропедевтических курсов геометрии» [26, с. 3] и подготовлен отзыв на книгу Ф. Кэджори «История элементарной математики» (перевод с английского. Одесса, 1910) [27]¹⁸.

В течение 1910—1912 гг. в педагогических журналах, выходивших в Петербурге, появился ряд статей, рецензий и аннотаций Ф. Филиповича. В его статье «К реформе обучения математике (С приложением новых примерных программ)» [14, 1911, № 3, с. 13—33, № 4 с. 20—31] была подвергнута резкой критике существующая система образования и воспитания подрастающего поколения. «Все наше преподавание представляет учащимся слишком узкое поле для самостоятельности, для развития умственной самостоятельности и чересчур много обращает внимание на «пассивные» упражнения..., — писал Филипович. — Поражающая умственная несамостоятельность, недостаток умственной инициативы, слабость суждения, неуверенность в себе — вот плоды нашей современной организации воспитания и обучения» [14, 1911, № 4, с. 20]. Ссылаясь на материалы Второго всероссийского съезда по педагогической психологии, Первого всероссийского съезда учителей городских училищ и Первого всероссийского съезда по экспериментальной педагогике¹⁹, Ф. Филипович отмечал, что эти форумы продемонстрировали огромный интерес прогрессивной общественности России к проблеме реформы школы. Отвергая старые, сухие и схоластические приемы преподавания математики, он призывал привести содержание и методы обучения в соответствие с требованиями жизни, с уровнем развития науки и техники, с возрастными и психологическими особенностями ребенка. По его мнению, «динамическая, лабораторная сторона в обучении математике должна получить в младших классах преобладающее значение» [14, 1911, № 4, с. 22]. В статье приводились примерные программы по математике для гимназий и народных университетов, разработанные сторонниками реформы.

Одну из своих статей Ф. Филипович посвятил Политехническим курсам петербургского Общества народных университетов. Он считал их деятельность крайне полезной для удовлетворения «насуточной потребности в специальных знаниях, которая чувствуется у трудящихся классов населения», и популяризации технического и коммерческого образования [14, 1912, № 4, с. 46].

В статьях, посылаемых на родину, в Сербию, Ф. Филипович рассказывал о движении за реформу школы, о народных университетах и школах

¹⁷ Общелекторское собрание являлось вспомогательным органом совета Общества народных университетов. Оно включало в свой состав всех лекторов и преподавателей народных университетов, число которых достигало 200 человек. В учебном отделе было 10 членов [24, с. 8].

¹⁸ Рецензия Ф. Филиповича на книгу Ф. Кэджори была опубликована в журнале «Русская школа», 1910, № 12, с. 34—36.

¹⁹ Первый всероссийский съезд по экспериментальной педагогике проходил в Петербурге с 26 по 31 декабря 1910 г. Ф. Филипович на этом съезде не присутствовал.

нового типа в России [28; 1, с. 180—188]. В то же время в ряде российских периодических изданий были напечатаны его информационные заметки о системе народного образования в Сербии и других странах. Условия для бурного развития школьного дела в Сербии, отмечал Ф. Филипович в статье «Народная школа в Сербии», были созданы в результате освобождения страны от турецкого ига. В статье содержались интересные данные о количестве сербских школ и учащихся в них, о подготовке преподавательских кадров и их материальном положении, о постановке учебного процесса и деятельности центрального учительского союза. С глубоким уважением отзывался Ф. Филипович о сербских народных учителях. Он писал, что народный учитель «не только жертвовал собою своим ученикам и посвящал всю свою жизнь школе, но и в тяжелые времена реакции всегда стоял в первых рядах борцов за народную свободу» [29, 1911/12, кн. 3—4, с. 133]. Духом признательности учителям была проникнута и его статья «Народное образование в Сербии», опубликованная в журнале «Русская школа» [17, 1911, № 3, с. 66—69]. Здесь же была напечатана статья Ф. Филиповича «Школьное дело в Австрии» [17, 1911, № 11, с. 46—50]. В ней сообщались сведения о состоянии народного образования в югославянских землях Австро-Венгрии, о первом (июнь 1908 г.) и втором (август 1910 г.) съездах славянских учителей в Австрии. Характеризуя положение в системе просвещения, Филипович писал, что «в некоторых австро-венгерских провинциях народная школа лишена возможности свободно пользоваться народным языком и тем самым подрезается корень ее образовательной деятельности» [17, 1911, № 11, с. 46].

Внимательно следил Ф. Филипович за новинками научной и педагогической литературы по математике. В 1910—1912 гг. он написал ряд рецензий и аннотаций [17, 1910, № 12, с. 34—36; 14, 1911, № 8, с. 70—71; 14, 1912, № 1, с. 63—64], стал заниматься и редакторской деятельностью. В 1912 г. в Петербурге вышла под его редакцией (перевод с немецкого) первая часть книги П. Трейтлейна «Методика геометрии»²⁰.

Много сил и времени отдавал Ф. Филипович разработке и созданию образцов учебных пособий по математике для средней школы. В 1909—1911 гг. им были подготовлены «Наглядная геометрия в развертках» (тетрадь для классного и домашнего пользования с развертками, задачами и рисунками), «Дробный счетчик» (наглядно-лабораторное пособие при изучении действий над простейшими дробями), совместно с В. Мрочком — «16 геометрических разборных тел из 55 частей» и «10 разверток геометрических тел...» [19, с. 379; 30, с. 24; 29, 1911, кн. 2, с. 95]. В 1912 г. была издана работа Ф. Филиповича «Начальная геометрия в развертках», которая, по его словам, облегчала преподавание первого цикла геометрии — наглядного курса, способствовала формированию у учащихся пространственного воображения [30, с. 3]. Все эти пособия, как правило, предварительно обсуждались на заседаниях Отдела математики Педагогического музея военно-учебных заведений [26, с. 4; 31, вып. IV, с. 5], а утверждались и изготавлялись в Институте учебных пособий «Песталоцци» в Петербурге.

Видную роль сыграл Ф. Филипович в проведении Первого всероссийского съезда преподавателей математики, идея созыва которого зародилась в Отделе математики Педагогического музея военно-учебных заведений. Непосредственно же инициатива исходила от В. Мрочка и Ф. Филиповича²¹. 4 мая 1911 г. на первом совещании инициативной группы, где присутствовали директор Педагогического музея З. А. Макшеев, проф. А. В. Васильев, проф. С. Е. Савич, проф. К. А. Поссе, Д. Э. Тен-

²⁰ Объявление о выходе в свет этой книги было опубликовано в журнале «Техническое и коммерческое образование», 1912, № 2, с. 70.

²¹ Выступая 3 января 1912 г. на закрытии Первого всероссийского съезда преподавателей математики, председатель его организационного комитета З. А. Макшеев, в частности, сказал: «В Отделе математики Педагогического музея в 1909—10—11 годах рассматривались вопросы о преподавании математики и о реформе его в особенности. Двое из членов отдела обратились ко мне с просьбой организовать съезд. Этими лицами, которые первые подняли вопрос о съезде и имена которых я считаю нужным упомянуть, были В. Р. Мрочек и Ф. В. Филипович» [20, с. 572].

нер, Д. М. Левитус, Ф. Филипович и В. Мрочек [20, с. VII—VIII], были обсуждены и одобрены предварительная программа и проект Положения о съезде²². В ходе работы съезда предполагалось рассмотреть такие вопросы, как психологические основы обучения математике, содержание ее школьного курса с учетом запросов жизни, новейших научных тенденций и педагогических воззрений, методика преподавания математики на всех ступенях обучения и в школах разных типов, подготовка кадров учителей и другие [32, 1911, VII, с. 94—95].

На следующем совещании инициативной группы (10 мая) было решено составить специальное обращение к общественности России в связи с намечавшимся проведением съезда²³. В обращении говорилось: «Если результатом съезда явится единение русских преподавателей математики на почве выяснения их педагогических и методических взглядов, на почве указания общих неотложных задач ближайшего будущего для школьной математики, то инициаторы съезда будут считать свою задачу выполненной» [20, с. VIII]. На совещании 2 сентября была утверждена повестка дня съезда и избран его оргкомитет. В него вошли: З. А. Макшеев — председатель, К. А. Поссе, С. Е. Савич и М. Г. Попруженко — товарищи председателя, В. Р. Мрочек, Ф. Филипович и Д. М. Левитус — секретари и Д. Э. Теннер — казначей [32, 1911, X, с. 392]. Кроме того, были сформированы выставочная и хозяйственная комиссии. Ф. Филипович занимался текущей работой по подготовке съезда (вел переписку, выдавал различные справки и т. д.) и являлся членом выставочной комиссии, которой надлежало отобрать для демонстрации лучшие учебные пособия и книги по математике [20, с. IX]. Ему поручили также составить каталог новейшей математической учебной литературы²⁴.

В сентябрьском номере журнала «Техническое и коммерческое образование» за 1911 г. была помещена заметка В. Мрочека и Ф. Филиповича «К 1-му Всероссийскому съезду преподавателей математики», в которой перечислялись основные вопросы, выдвигавшиеся для обсуждения. «Пусть 1-й съезд русских преподавателей математики объединит их хотя бы на почве критики, на почве сомнения в пригодности старых методов обучения; ведь: „сомнение — начало философии“, — говорилось в заметке. — Работа не легкая, но тем более необходимо ее начать! И начать ее должно с личного обмена мнений и мыслей, со взаимного сообщения друг другу наболевших вопросов и попыток к их разрешению. Коллективная по существу задача учителя — воспитателя должна и рассматриваться коллективно» [14, 1911, № 5, с. 15—16].

Первый всероссийский съезд преподавателей математики проходил с 27 декабря 1911 г. по 3 января 1912 г. в здании Педагогического музея военно-учебных заведений. В его работе приняли участие 1 217 человек [20, с. XIII]. Председательствовал на съезде проф. А. В. Васильев, секретарями были избраны Ф. Филипович, В. Мрочек и Д. М. Левитус [20, с. 6—7]. На пленарном заседании 28 декабря Ф. Филипович выступил с докладом «Постановка преподавания начал анализа в средней школе» [20, с. 101—117], предложил ввести в общеобразовательный курс средней школы некоторые разделы из высшей математики, в частности, ознакомить учащихся с основами дифференциального и интегрально-

²² В бюллетене № 1 от 29 октября 1911 г. I-го всероссийского съезда преподавателей математики отмечалось, что «в выработке предварительной программы и Положения о съезде деятельное участие приняли преподаватели: Д. Э. Теннер, В. Р. Мрочек, Ф. В. Филипович и Д. М. Левитус» [29, 1911, № 2, с. 85—86].

²³ Это обращение было напечатано в количестве 2 тыс. экземпляров и разослано преподавателям математики, педагогическим и научным обществам и кружкам, редакциям педагогических журналов и газет [31, вып. II, с. 4].

²⁴ «Указатель учебной математической литературы» был составлен Ф. Филиповичем при участии А. П. Беляниной и Ю. Г. Шиперко и включал более 400 наименований книг и статей отечественных и иностранных авторов. В предисловии Ф. Филипович отмечал, что при подготовке указателя он руководствовался «исключительно педагогическими соображениями», старался максимально включить педагогические работы по математике, а из научных — лишь те, которые могли послужить справочным материалом для преподавателей [33, с. 3—4].

го исчисления и элементами аналитической геометрии. Ссылаясь на А. И. Герцена, считавшего необходимым качеством педагога умение ясно и доступно излагать свой предмет, Ф. Филипович подчеркивал, что «задача педагогика — сделать науку понятной, заставить ее говорить простым, *обыкновенным* языком» [20, с. 106]. Облегчить усвоение учебного материала, по его мнению, могли разнообразные наглядные пособия, лабораторные занятия, черчение, лепка, рисование и т. д. Он ознакомил присутствовавших с опытом своей работы в Преображенской новой школе.

Доклад Ф. Филиповича вызвал оживленную дискуссию. Большинство ораторов, и среди них С. И. Шохор-Троцкий, разделяли точку зрения докладчика [20, с. 117—128]. В резолюции съезда признавалось важным добиваться самостоятельности и повышения активности учащихся, усилить наглядность преподавания всего курса математики в школе, одновременно уделяя должное внимание развитию у старшеклассников логического мышления, ознакомить их «с простейшими и несомненно доступными им идеями аналитической геометрии и анализа» [20, с. 568—569].

В заключительном слове председатель оргкомитета съезда З. А. Максеев подчеркнул, что секретари В. Мрочек и Ф. Филипович оказали «громдную помощь» в проведении съезда [20, с. 573]. М. Г. Попруженко в статье «Первый всероссийский съезд преподавателей математики» писал: «Будущая история съездов преподавателей математики в России должна с признательностью сохранить имена г. г. петербургских учителей Мрочка и Филиповича, первых глашатаев и ревнителей состоявшегося петербургского съезда» [32, 1912, II, с. 269]. После закрытия съезда В. Мрочек и Ф. Филипович занялись подготовкой к изданию 1-го тома его трудов [20, с. XIV].

Ф. Филипович продолжал активно работать в Отделе математики Педагогического музея. Заседания отдела становились все более массовыми, на некоторых из них присутствовало до 60 человек [31, вып. IV, с. 3]. 24 января 1912 г. Ф. Филипович принял участие в обсуждении сборника задач для средних классов гимназий и старших классов городских училищ «Графики и их применение к решению уравнений», подготовленного М. М. Щербацевич. Дав положительную оценку этой работе, он, в частности, отметил, что значение графиков неодинаково на различных ступенях обучения. «*В младших классах*, — указал Филипович, — уместно прибегать к графическому методу при разработке арифметических понятий, *в средних классах* — для решения и исследования уравнений..., *в старших классах* — графический метод способствует усвоению начал дифференциального и интегрального исчисления» [31, вып. IV, с. 13].

Педагогический музей военно-учебных заведений участвовал в организации международной учебно-промышленной выставки «Устройство и оборудование школы», действовавшей с 3 мая по 15 июля 1912 г.²⁵ Ф. Филипович непосредственно занимался подбором экспонатов для математического раздела выставки [31, вып. II, с. 7]²⁶. В статье, посвященной этой выставке, отмечалось, что учебные пособия по математике были представлены на ней очень полно. Из экспонатов Педагогического музея особенно выделялись «активные» пособия, призванные развивать самостоятельность учащихся. Его экспозиция отражала «последовательный ход ученических работ по изучению геометрии, чисел и действий над ними» [35].

В феврале 1912 г. Ф. Филипович был избран секретарем Рабочей палаты Сербии. В июне по окончании учебного года он уехал на родину [1, с. 189].

Тринадцатилетний период (1899—1912) пребывания в России был для Ф. Филиповича весьма плодотворным. Здесь он получил высшее образование, включился в революционную борьбу, успешно занимался педа-

²⁵ За участие в этой выставке Педагогическому музею была присуждена большая золотая медаль императорского русского технического общества [31, вып. II, с. 5].

²⁶ Об этой выставке Ф. Филипович рассказал в статье «Международная школьная выставка в Петрограде», опубликованной в теоретическом органе Сербской социал-демократической партии журнале «Борба» [34].

гогической и научной деятельностью. Ф. Филипович активно участвовал в широко развернувшемся под влиянием революции 1905 г. движении прогрессивной интеллигенции России за реформу системы народного образования, за тесную связь школы с жизнью, за воспитание всесторонне развитого и деятельного молодого поколения.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Дамјановић П.* Филип Филиповић. Фрагменти за биографију.— Годишњак града Београда. Књ. VI. Београд, 1959.
2. АВПР. ф. Славянский стол, д. 13504, л. 6.
3. ЦГАОР СССР, ф. 102.
4. *Сумарокова М. М.* Новые данные о начале революционной деятельности Филипа Филиповича.— Советское славяноведение, 1967, № 1, с. 56—59.
5. *Сумарокова М. М.* Ф. Филипович о революционном движении в России в 1905—1917 гг.— Советское славяноведение, 1978, № 4, с. 3—8.
6. *Sumarokova M. M.* Clanci Filipa Filipovića o balkanskim ratovima na stranicama «Pravde» (1912—1913).— Prilozi za istoriju socijalizma. Knj. 8. Beograd, 1971, s. 327—338.
7. Циркуляр по С.-Петербургскому учебному округу.
8. *Михайлова М. В.* Обновление содержания образования в передовых опытных школах дореволюционной России.— Вопросы истории школы и педагогики дореволюционной России (Сб. науч. трудов). М., 1978, с. 37—46.
9. Труды курсов для учителей средней школы 5—25 июня 1907 г. С.-Пб., 1908.
10. Краткий обзор деятельности Педагогического музея военно-учебных заведений за 1907—1908 г., 38-й обзор, вып. II. С.-Пб., 1909.
11. Краткий обзор деятельности Педагогического музея военно-учебных заведений за 1908—1909 г., 39-й обзор, вып. VI. С.-Пб., 1910.
12. Отчет о деятельности С.-Петербургского Общества народных университетов за 1909 г. С.-Пб., 1910.
13. Вестник народных университетов, 1910, № 2, с. 76—80.
14. Техническое и коммерческое образование.
15. Труды Второго всероссийского съезда по педагогической психологии в С.-Петербурге в 1909 г. (1—5 июня). С.-Пб., 1910.
16. Труды Первого всероссийского съезда учителей городских по Положению 1872 г. училищ 7—14 июня 1909 г., т. I. С.-Пб., 1910.
17. Русская школа.
18. Труды Первого всероссийского съезда учителей городских по Положению 1872 г. училищ 7—14 июня 1909 г., т. II, ч. 2. С.-Пб., 1910.
19. *Мрочек В. и Филипович Ф.* Педагогика математики. Исторические и методические этюды, т. I. С.-Пб., 1910.
20. Труды 1-го Всероссийского съезда преподавателей математики 27 декабря 1911 г.— 3 января 1912 г., т. I. С.-Пб., 1913.
21. Краткий обзор деятельности Педагогического музея военно-учебных заведений за 1910—1911 гг., 41-й обзор, вып. VI. С.-Пб., 1913.
22. Вестник опытной физики и экспериментальной математики.
23. Справочный листок С.-Петербургского педагогического общества взаимной помощи. С.-Пб., 1912, с. 25.
24. Отчет о деятельности С.-Петербургского Общества народных университетов с 1-го сентября 1910 г. по 1-е сентября 1911 г. С.-Пб., 1912.
25. Отчет о деятельности С.-Петербургского Общества народных университетов с 1-го сентября 1911 г. по 1-е сентября 1912 г. С.-Пб., 1913, с. 4.
26. Краткий обзор деятельности Педагогического музея военно-учебных заведений за 1909—1910 г., 40-й обзор, вып. V. С.-Пб., 1912.
27. Краткий обзор деятельности Педагогического музея военно-учебных заведений за 1910—1911 г., 41-й обзор, вып. VI. С.-Пб., 1913, с. 5.
28. *Filipović F.* Izabrani spisi. Knj. II. Beograd, 1962, s. 331—338.
29. Обновление школы.
30. *Филипович Ф.* Начальная геометрия в развертках. С.-Пб., 1912.
31. Краткий обзор деятельности Педагогического музея военно-учебных заведений за 1911—1912 г., 42-й обзор. Пг., 1914.
32. Педагогический сборник, издаваемый при Главном управлении военно-учебных заведений.
33. *Филипович Ф.* Указатель учебной математической литературы. С.-Пб., 1912.
34. Борба, 1912, књ. V, св. 12.
35. *Н. Н.* Международная учебно-промышленная выставка «Устройство и оборудование школы». — Учительское дело (Известия Постоянной Комиссии по устройству курсов для учителей). С.-Пб., 1912, № 5—6, с. 183.



• ИЗ ИСТОРИИ БОЛГАРСКОГО НАРОДА
ПОД ОСМАНСКИМ ГОСПОДСТВОМ
(КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ ПАТРИАРХИЯ
В СИСТЕМЕ ОСМАНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
XV—XVI вв.)

Феодалная раздробленность и междоусобные войны были одной из причин быстрого завоевания Второго Болгарского царства турками-османами. После трехмесячной осады в 1393 г. их войска овладели столицей царства — Тырновом. Спустя три года было завоевано и Видинское государство Ивана Срацимира¹.

В отличие от других, завоеванных турками-османами балканских народов, сохранивших в той или иной степени церковную автономию, болгары в течение пяти веков были лишены собственной церковной организации, а установленный Османской Портой церковно-административный статут Константинопольской патриархии поставил болгар в наиболее неблагоприятное положение. Изучение положения болгар под османским игом вызывает необходимость исследования политической роли Константинопольской патриархии, ее взаимоотношений с центральной османской властью, места и роли патриархии в системе управления болгарским народом.

В статье рассматривается период с 1453 г. (дата падения Византийской империи и включения православной греческой патриархии в османскую политическую систему) и до конца XVI в. В XVI столетии административное устройство патриархии было восстановлено в духе прежних традиций византийского периода [2, с. 19]. С конца XVI в. во внутренней жизни Османской империи значительно возрастает роль потомков византийских аристократических родов и в 1601 г. резиденция константинопольских патриархов была перенесена в Фанар². Считаем нужным сразу оговорить некоторую несвоевременность встречающегося в публикациях определения «фанариоты», иногда применяемого для Константинопольской патриархии в XV—XVI вв. Думается, что использование этого термина полностью оправдывает себя лишь с 1601 г., когда при патриархе Матфее II (1599—1602) патриаршая резиденция стала находиться в Фанаре — в монастыре великомученика Георгия [3, с. 391—403].

Как известно, после Флорентийской унии 1439 г. в Византийской империи обострилась борьба ортодоксальной партии против униатов. Настроение протурецких элементов греческого духовенства выразил Лука Нотара, греческий флотоводец: «Лучше видеть в городе турецкую чалму,

¹ В некоторых других государствах, также павших в конце XIV — середине XV в под напором османских завоевателей, заметны определенные попытки устранить феодальную раздробленность [1, с. 300].

² Фанар или Фенер — название квартала в Стамбуле, на берегу Золотого Рога, где проживала греческая знать, потомки знатных византийских родов.

чем латинскую тиару» [4, с. 393]. Именно эти круги высшего византийского духовенства для сохранения собственного положения и позиций Константинопольской патриархии готовы были признать власть Порты [5, с. 106—133; 6, с. 98]. К. Маркс отрицательно оценивал роль главного руководителя этого направления — монаха Геннадия, известного противника Флорентийской унии, который в отсутствие патриарха Григория III Маммы (покинул Константинополь в 1450 г.) проводил политику «предательского фанатизма» [7, с. 207], а после падения Константинополя был назначен султаном Мехмедом II греческим патриархом под именем Георгия Схолария³.

Перед опасностью крестоносной коалиции европейских государств султан принимает решение противопоставить завоеванные православные народы католическому Западу. Определенное значение здесь имело и желание вернуть население в опустевшую столицу прежней Византии и стремление воспрепятствовать усилению освободительного движения балканских народов. Но основную роль, видимо, сыграло осознание трудности, а то и невозможности управлять иноверными христианскими народами без использования некоторых византийских и балканских институтов — в первую очередь, влиятельной Константинопольской патриархии. Успешное разрешение этих задач в организации внутренней жизни империи было возможно лишь при допущении существования органов ограниченного местного самоуправления. Желание нормализовать хозяйственную и общественную жизнь в завоеванных землях вынуждало османских правителей проводить более гибкую политику, что нашло свое выражение в известном покровительстве греческой церкви и ее институтам.

Высокая Порта⁴ стремилась использовать христианскую церковь для утверждения своего господства над враждебным инородным и ирелигиозным населением. Более того, вследствие специфического религиозного характера османской державы, в которой вся административная деятельность и право основывались на коране, греческий клир получил возможность вмешиваться в светские дела своих мирян.

Вопрос о причинах предоставления таких широких прав константинопольским патриархам и выделения их из числа других патриархов⁵ поднимался во многих работах по истории Османской империи. Приводились различные объяснения: экономический и политический расчет, теократический характер империи, допускавший организацию только на религиозной основе, исходящей из идеи «один султан — один патриарх», которая была «соблазнительна для турок — выгодна для греков» [11, с. 184]. Покровительство, оказываемое Портой патриархии, обосновывалось в литературе уважением или безразличием турок-османов к чуждой религии, а некоторые славянофильские авторы доходили до утверждения, что «...благодаря только туркам и держится еще многое истинно православное на Востоке» [12, с. 18]. В. А. Гордлевскому принадлежит мысль, что во внутреннем устройстве Османской империи «греки, как своего рода „державная“ христианская нация, представляли „государство в государстве“; между мусульманами и ими — „райя“⁶ — точки соприкосновения были только на почве фискальной...» [13, с. 138].

³ Более подробно о деятельности Схолария в качестве главы оппозиции церковной унии Востока и Запада см. [8, с. 52].

⁴ Высокая Порта, Блистательная Порта — неточные переводы турецкого выражения «Паша-капысы» и арабского «Баб-и-али», которые обозначали здания правительства и само правительство Османской империи [9, с. 497].

⁵ Остальные «три восточных патриарха... не могут быть названы равными константинопольскому..., т. к. гражданской власти они не имеют никакой, между тем как патриарх константинопольский, признанный... главою христианского населения всей империи, распространяет свою власть и на патриархов с их патриархатами. Восточные патриархи сносятся с правительством Порты не иначе как через патриарха константинопольского, не могут даже прибыть в столицу без согласия на то его и его синода» [10, с. 117].

⁶ Райят (мн. ч. — ре'айя) — феодально-зависимый, прикрепленный к земле феодала крестьянин. Наименование «ре'айя» вначале относилось как к мусульманскому, так и к христианскому земледельческому населению Османской империи. С конца XVII начала XVIII в. так начинают называть преимущественно христианских подданных Порты.

Осуществляя верховное управление, турки-османы заботились прежде всего об организации армии, о поддержании аппарата подавления и принуждения, о сборе налогов. Вопросы же социальной и духовной жизни в определенной степени были предоставлены религиозным общинам (как религиозная, так и мирская жизнь в Османской державе регулировалась по законам шариата). Вследствие этого несовместимость между господствующей религией — исламом и христианством не помешала Константинопольской патриархии войти в организм Османского государства и постепенно превратиться в орудие государственной политики завоевателей [2, с. 17].⁴

Сущность этого явления в свое время хорошо была раскрыта К. Марксом. Задавшись вопросом: «...как же совмещается с кораном существование христианских подданных Порты?» — Маркс приходит к выводу, что «...христиане там пользуются привилегией жить в качестве *райи*... исключительно потому, что согласились поставить себя под покровительство мусульман. Следовательно, только по той причине, что христиане подчиняются правлению мусульман в соответствии с мусульманским законом, константинопольский патриарх, их духовный глава, является в то же время их политическим представителем и верховным судьей» [14, с. 167].

Как известно, в Османской империи в XV в. существовали три официально признанные инорелигиозные общины: православная, армянская и еврейская. Армяно-грегорианская и иудейская общины в основном были организованы аналогично греческой⁷. Болгары, как и все православное население Османской империи, входили в так называемую «ромейскую общину», или «рум-миллет»⁸. Миллеты представляли собой религиозно-этнические общины, которые без особых изменений просуществовали до XVII в.

В зарубежной литературе последних лет «система миллетов» широко привлекается для объяснения внутренних взаимоотношений в Османской империи. По мнению К. Карпата [20], Х. Иналджика [21], М. Кортепелера [22], Ст. Шоу [23] и ряда других буржуазных исследователей миллеты способствовали сохранению под османской властью различных этнических, языковых и религиозных групп и определили специфический путь возникновения ряда национальностей и наций на территории Турции [24, с. 108—109].

Однако, как верно отметила С. Ф. Орешкова, указанные выше авторы [20, 21, 22, 23] тенденциозно идеализируют систему миллетов, исходя лишь из факта сохранения и дальнейшей жизнеспособности различных национальных объединений, не учитывая при этом существовавшего в Османской империи религиозно-национального гнета и ограничений. К тому же и сами миллеты сохраняли и консервировали не только обособленность групп, но и социально-политические отношения [24, с. 108—109].

В условиях инонационального и инорелигиозного ига греческие патриархи, называемые миллет-баши, по существу стали своего рода посредниками между православной общиной, т. е. христианской райей, и османскими султанами, хотя юридические отношения между греческой церковью и завоевателями не получили законодательной фиксации. Вопрос о правах и обязанностях патриарха и подчиненного ему клира в XV—XVI вв. еще во многом не ясен из-за отсутствия документальных свидетельств. В частности, не доказано, регулировались ли они уже Мехмедом II или же существовал какой-нибудь другой не дошедший до нас правовой акт?

⁷ Греко-православная и армяно-грегорианская общины были утверждены со времени взятия Константинополя турками в 1453 г. Иудейская община утверждена в 1493 г. [15, с. 169]. Существовала еще и сербская церковь, патриархи которой в 1557 г. получили равные права с константинопольскими; в ее ведение отошло и православное население Западной Болгарии [16, с. 44—45; 17, с. 92—100].

⁸ Румами турки до сих пор называют греков, живущих в Турции (рум — арабизированная форма слова ромей). Термин ромей, т. е. римлянин, сохранялся у византийцев вплоть до османского завоевания. В средневековой Османской империи название рум, а также слова рум-миллет использовались для обозначения лиц, принадлежащих как к греческой народности, так и к греческому (православному) вероисповеданию, к которому причисляли также болгар, сербов и др. [18, с. 27; 19, с. 164].

[25, с. 231—256]. Однако очевидно, что именно при Мехмеде II были заложены основы того статуса Константинопольской патриархии, который нашел отражение в дошедших до нас султанских бератах⁹ более позднего времени. Посредством этих бератов, без которых патриархи и митрополиты не могли вступать в должность, подтверждалось верховенство власти султана над греческой церковью. Показателен путь документов, относившихся к назначениям митрополитов и прошедших через высшие органы османского управления. Документы уведомляли местные османские власти о новоназначенных иерархах, о нарушениях ими порядка при исполнении служебных обязанностей. Местные власти, со своей стороны, извещали везирей Порты, которые отправляли предписания в патриархию. Иногда духовенство согласовывало свои действия непосредственно с местными властями или прямо в столице империи [26, с. 55]. Такая зависимость высшего клира от султанов часто использовалась в корыстных целях и приводила к коррупции в самой церкви.

А. П. Лебедев указывает, что обычай платить султану деньги за право избрания в патриархи, так называемый пешкеши (пешкеш), восходит к периоду управления патриарха Марка II Ксилокарависа (1466—1467). «Не сам султан ввел пешкеши, а пришел к мысли брать таковой, благодаря константинопольским клирикам» [3, с. 374—376]. Достоверные известия о занятии патриаршего поста посредством подкупа в 1000 дукатов связаны с именем другого патриарха — Симеона I (1472—1475) [2, с. 18]. Впоследствии пешкеш стал негласной обязанностью, а сумма его непрерывно возрастала. К. Маркс, характеризуя в XIX в. положение христианской иерархии, писал: «Каждая ступень в духовной иерархии имеет свою цену в деньгах. Чтобы получить инвентитуру, патриарх платит Дивану¹⁰ тяжелую дань, но, в свою очередь, он продает архиепископства и епископства своему духовенству, которое вознаграждает себя продажей второстепенных мест и данью, взимаемой с попов». Попы, в свою очередь, «пускают в розницу власть, купленную у начальства, и торгуют всеми актами своего служения: крещениями, бракосочетаниями, разводами и завещаниями» [14, с. 168]. В конце XV — начале XVI в. установилась и практика обязательной ежегодной платы патриархами налога, условно называемого харач [2, с. 18; 3, с. 378]. А так как выборы нового патриарха означали новый пешкеш и в большинстве случаев увеличение годовой дани, то Порта наживалась на частой смене патриархов. Начиная с Георгия Схолария (1454—1456) и кончая Матфеем II (1593—1602) патриархи сменялись 37 раз [12, с. 249, 303].

Таким образом, уплачивая патриарший харач, пешкеш за назначение в патриархи и за митрополитские бераты, всевозможные взятки представителям османского государственного аппарата, высший клир Константинопольской православной церкви добивался сохранения своих прав над паствой. Своего рода откупом христианской паствы за «дарованное» ей султаном право исповедания своей религии являлась мирия¹¹ [2, с. 18]. Такая система открывала возможности для грубого вмешательства султанов и влиятельных османских чиновников в выборы патриархов и митрополитов. Иногда это было продиктовано политическими или финансово-экономическими интересами Османской империи, иногда к ее помощи прибегали сами представители противоборствующих группировок высшего греческого клира. Поэтому внутренняя автономия церкви, как и автономия религиозной жизни христиан была тогда весьма относительна. Мы не говорим здесь уже о массовых проявлениях религиозно-народной дискриминации, проводившейся мусульманами в отношении христианского болгарского населения [27, с. 78—88].

Однако в вопросах культуры, догматики, церковной дисциплины и т. п. патриархия сохраняла свою церковно-религиозную автономию, которая

⁹ Берат — султанская жалованная грамота, представлявшая право на владение; утверждавшая в должности.

¹⁰ Диван — государственный совет при султани, возглавлявшийся великим везиром.

¹¹ Мирия — часть церковной дани, предназначенная для казны султана.

дополнялась и определенной юрисдикцией в некоторых светских делах православной паствы. В области уголовного права патриархи, митрополитские и епископальные суды кроме духовного наказания (епитимьи) могли приговаривать мирян к денежному штрафу, тюремному заключению, к ссылкам на каторгу. Но для приведения этих приговоров в исполнение необходимо было согласие османских органов власти. Независимо от конкретной провинности обвиняемого, патриархи, требуя наказания, чаще всего выдвигали две мотивировки: обвиняемый «препятствовал сбору даней для фиска» или же «нарушал порядок в государстве султана», которые, очевидно, были наиболее убедительны для Порты [28, с. 373—380].

Высший клир Константинопольской патриархии официально пользовался правом неприкосновенности, согласно которому османские судебные органы не могли арестовывать и судить церковных служителей без согласия вышестоящего духовного иерарха. На практике, однако, этот иммунитет часто нарушался.

Патриархи предоставляли османскому фиску сведения о численности христиан для обложения их податями. В то же время с православных собирался налог — «владычина» в пользу духовенства, что давало греческой церкви возможность беспрепятственно грабить болгарское население. Так как значительная часть церковных доходов поступала в различной форме в государственную казну, султаны были даже заинтересованы в содействии фискальной деятельности патриархов, для чего предоставляли в распоряжение церковных налоговщиков отряды янычар [29, с. 102; 2, с. 21].

Факт, взимания поборов, зачастую произвольных, с болгарского народа представителями патриархии в XV—XVI вв. не вызывает сомнений, в частности, в советской и болгарской литературе. Однако перечислить все виды церковных даней и поборов представляется весьма затруднительным, поскольку главными источниками по этому вопросу являются митрополитские бераты. Самый же ранний из известных бератов относится к 1604 г. Но относящиеся к XVII в. бераты и ферманы¹², адресованные местным османским властям, в основном кадиям¹³, свидетельствуют о фискальной системе патриархии, которая через местных архиереев собирала с болгар обычные и чрезвычайные церковные налоги, одна часть которых предназначалась для содержания церковной администрации, а другая (мирия) — отдавалась в пользу Порты.

Дошедшие от начала XVII в. жалобы болгар позволяют судить, с одной стороны, о размерах взимаемых клиром налогов в конце XVI в., а с другой — о резком увеличении поборов, что объясняется, во-первых, последствиями так называемой «революции цен», а, во-вторых, — все более возрастающими аппетитами Константинопольской патриархии и высшего клира. В 1605 г. священники и миряне из Софийского и Брезнишского округов жаловались в Софии, что «...в старое время платили цариградскому патриарху по 60 аспров с каждого священника и по 6 аспров с каждого райята», а ныне, вопреки существовавшему положению со священников взимают «по 400 аспров, а с прочих кяфиров по 12 аспров» [2, с. 31, 40]. Если в конце XVI в. за венчание взималась брачная такса в 30—40 аспров, то в 30-е годы XVII в. она увеличивается до 80 аспров за первое венчание, 160 — за второе и 240 — за третье. Однако, как указывалось в жалобе болгар из Самоковской епархии, фактически брачная такса составляла уже около 400—500 аспров [2, с. 32]. Поскольку нормативная сторона финансовой системы греческой церкви в принципе устанавливалась и узаконивалась османской центральной властью, эти жалобы болгар на произвол греческих архиереев подавались представителям османских властей и рассматривались кадиями. Однако надежды болгар на некоторые послабления или ограничения в сборе налогов были почти безрезультатны, ибо с интересами Константинопольской греческой церкви именно в области налоговой политики наиболее тесно переплетались интересы правителей Османской империи.

¹² Ферман — султанский указ.

¹³ Кадий — мусульманский судья.

В этих условиях положение болгарского народа осложнялось действием нескольких несовпадающих феодальных правовых систем. Это: мусульманское религиозное право — шариат, светское османское законодательство (канун-наме, ферманы, бераты), каноническое право греческой Константинопольской патриархии и, наконец, ограниченное сферой православной общины (сельской и городской), старое болгарское обычное право. Поскольку границы между названными видами законодательства не всегда были четко очерчены, спорные вопросы болгарского населения могли решаться в трех судебных инстанциях: в кадийских судах (осуществляли судопроизводство на основании государственных законоположений, обосновывая их шариатом), в церковных православных судах (законодательная власть которых простиралась в основном на область частного права) и в рамках своей общины.

Господствующим правом в Османской империи являлся шариат, который был неприменим в сфере семейно-брачных, наследственных отношений и других сторонах повседневной жизни «неверных» (т. е. христиан). Вследствие этого на территории Болгарии продолжали действовать каноническое христианское и обычное право [30, с. 295].

Излишне говорить о том, что в условиях религиозной дискриминации болгары имели веские основания избегать разбора дел кадиями. Если дело можно было решить на основании обычного права, то болгары нередко воздерживались и от обращения в митрополитские и епископальные суды, за которыми стояла Константинопольская патриархия, чуждая болгарскому народу и его традициям.

В эту эпоху болгарский язык теряет свою функцию государственного языка. Наиболее благоприятные условия для проникновения греческого языка и греческого культурного влияния были в больших городах. Именно эти города были местопребыванием греческих владык, которые предпочитали вести литургию на греческом языке, и именно в городах создавались церковные училища, которые часто находились под управлением тех же владык [31, с. 128—129; 32, с. 61].

Как указывалось выше, часть взимаемых с болгарского народа средств отдавалась в пользу завоевателей, другая часть расходовалась на содержание греческой церковной администрации, третья выделялась для сохранения и поддержания уцелевших церковных сооружений. Для ремонта старых и строительства новых церквей требовалось специальное разрешение османских властей, которое нельзя было получить без значительных взяток [33, с. 134]. И, наконец, повседневное стремление греческих архиереев к обогащению приводило к тому, что собираемые с болгар средства, столь необходимые для развития культуры и просвещения, изымались из болгарской православной общины.

Не знающие (за малым исключением) болгарского языка, чуждые болгарскому народу ставленники Константинопольской патриархии приходили в болгарские епархии, как «чужденци» (иноземцы) и таковыми оставались в сознании народа Болгарии. Этому способствовало привилегированное положение высшего греческого духовенства в империи, которое определяло и его высокомерное отношение к «простым» болгарам. Все это не могло не вызвать неприязнь многих болгар к представителям греческой церкви [31, с. 128—129; 2, с. 48—49].

Зато низшее христианское духовенство (главным образом, сельские священники-болгары) принимало «деятельное участие в самоуправлении сельских общин. При этом как и сельские старейшины, они придерживались не столько религиозных догм православного канона, которого они даже хорошо и не знали, сколько неписанных законов, освященных обычаем и традицией» [34, с. 144; 2, с. 20].

В обстановке произвола и насилия, характерного для османского политического режима, общие интересы болгар и установленная коллективная их ответственность перед османскими властями вызывали необходимость совместного решения ряда вопросов внутриобщинной жизни, которая регулировалась главным образом болгарскими обычаями и традициями. Это неоднократно приводило болгарскую православную общину

к необходимости действовать как единое целое во время ее контактов с другими религиозными общинами, с отдельными лицами и органами османской власти.

В этой связи можно напомнить вывод К. Маркса, что «система господства духовенства над христианами православного вероисповедания в Турции и все их общество имеет своим краеугольным камнем подчинение **райи** корану, который, со своей стороны, относясь к ней как к неверным, то есть как к отдельной нации в религиозном смысле, санкционирует **соединение** духовной и светской власти в руках их священников» [14, с. 168]. Этот вывод, сделанный К. Марксом применительно к XIX в., характеризует в определенной мере и положение болгар в Османской империи XV—XVI вв., свидетельствует о значении и роли Константинопольской патриархии в системе османского владычества в Болгарии.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Наумов Е. П.* Господствующий класс и государственная власть в Сербии XIII—XV вв. Динамика социальной и политической системы сербского феодализма. М., 1975.
2. *Маркова З.* Българското църковно-национално движение до Кримската война. София, 1976.
3. *Лебедев А. П.* Нравственный облик, церковно-общественная деятельность; настроения и злоупотребия константинопольской патриархии (во второй половине XV и XVI веке).— Богословский вестник, март 1895. Сергиев Посад, 1895.
4. Византийские историки Дука и Франдзи о падении Константинополя (перевод и предисловие Степанова А. С.). — Византийский временник, т. VII, 1953 (далее ВВ).
5. *Удальцова З. В.* Борьба византийских партий на Флорентийском соборе и роль Виссариона Никейского в заключении унии.— ВВ, т. III, 1950.
6. *Удальцова З. В.* Предательская политика феодальной знати Византии в период турецкого завоевания.— ВВ, т. VII, 1953.
7. *Маркс К.* Хронологические выписки.— Архив Маркса и Энгельса. М., т. VI, 1939.
8. *Сметанин В. А.* Константинополь как центр славяно-византийского эпископального общения в первой половине XV в.— В кн.: Общество и государство на Балканах в средние века. Калинин, 1980.
9. *Миллер А. Ф.* Мустафа паша Байрактар. Оттоманская империя в начале XIX века, М.— Л., 1947.
10. *Суворов Н.* Курс церковного права, т. I. Ярославль, 1889.
11. *Христов Ст. Д-р* Стоян Иван Чомаков (1812—1893) и църковната борба.— В кн.: 100 години от учредяването на българската екзархия. Сб. под ред. на акад. Кирил Патриарх Български. София, 1971.
12. *Лебедев А. П.* История греко-восточной церкви под властью турок. От падения Константинополя (в 1453 г.) до настоящего времени. т. I. Сергиев Посад, 1896.
13. *Гордлевский В. А.* Греки в Османской империи.— Избр. соч., т. III, М., 1962.
14. *Маркс К.* Объяснение войны.— К истории возникновения Восточного вопроса.— Маркс К., Энгельс Ф. Соч., изд. 2-е. т. 10.
15. *Еремеев Д. Е.* Этногенез турок (происхождение и основные этапы этнической истории). М., 1971.
16. *Достял И. С.* Борьба сербского народа против турецкого ига (XV — начало XIX в.). М., 1956.
17. *Джурджев Б.* Столкновение между Охридской и Смедеревской церквами в первой половине XVI века.— В кн.: Македония и македонцы в прошлом. Скопье, 1970.
18. *Еремеев Д. Е.* На стыке Азии и Европы (очерки о Турции и турках). М., 1980.
19. *Эмиль де Лавелэ.* Балканский полуостров (Путевые заметки). Пер. с франц. ч. 1—2. М., 1889.
20. *Karpat K.* An Inquire into the Social Foundations of Nationalism in the Ottoman State. From Social Estates to Classes, from Millets to Nations. Princeton, 1973.
21. *Inalcik H.* The Turkish Impact on the Development of Modern Europa — The Ottoman State and its Place in World History. Leiden, 1974.
22. *Kortepeter C.* The Ottoman State and its Place in World History. Leiden, 1974.
23. *Shaw St.* History of the Ottoman empire and modern Turkey, v. I. Empire of the Gazis: the rise and decline of the Ottoman empire 1280—1808. Cambridge (Mass.), 1976.
24. *Орешкова С. Ф.* Османская империя и ее место в мировой истории (Обзор материалов конференции американских востоковедов).— В кн.: Проблемы истории Турции. М., 1978.
25. *Hering G.* Das islamische Recht und die Investiture des Gennadios Scholarios (1454), Balkan Studies, II, 1961, № 2.
26. Опис турски документи за църковно-национална борба на българския народ и за християнските църкви в османската империя XV—XX век. София, 1971.
27. *Цветкова Б.* О религиозно-национальной дискриминации в Болгарии во время турецкого владычества.— Советское востоковедение, 1957, кн. 2.

28. *Стайнова М.* Из взаимоотношенията между Вселенската патриаршия и Високата порта в 20-е години на XVIII в.— Изв. на Бълг. истор. дружество, кн. XXIX. София, 1974.
29. *Наташ Ж.* Болгарское возрождение. М., 1949.
30. *Андреев М., Ангелов Д.* История на българската феодална държава и право. София, 1968.
31. *Гандев Хр.* Фактори на Българското възраждане 1600—1830. София, 1943.
32. *Тодоров Н.* Славянские культуры и Балканы.— Советское славяноведение, 1976, № 3.
33. *Грозданова Е.* Българската селска община през XV—XVIII век. София, 1979.
34. *Грозданова Е.* Османское государство и общинное самоуправление болгар в XV—XVIII вв.— В кн.: Средневековый Восток. История, культура и источниковедение. М., 1980.



ИВАНОВ Ю. Ф.

ГУСИТСКОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ (КОНЕЦ 30-х — НАЧАЛО 50-х ГОДОВ)

Советское славяноведение имеет длительную традицию изучения крестьянской войны и национального движения в Чехии XV в. В последнее десятилетие появилось несколько работ, посвященных гуситской проблематике и представляющих значительный историографический интерес [1; 2]. Однако главное внимание в них уделяется исследованиям, выполненным, начиная с середины 50-х годов. В данной статье мы рассмотрим труды, появившиеся в конце 30-х — начале 50-х годов.

Конец 30-х годов, когда началось преодоление прежней недооценки советского славяноведения, стал для него переломным периодом. Связано это было с тем, что историческая наука, опираясь на решения партии и правительства, определившие меры по перестройке исторического образования и более рациональной организации исторических научных учреждений, успешно развивалась¹.

Медиевистика обогатилась рядом исследований по разным периодам средневековья, в том числе по развитому феодализму, т. е. времени важному для понимания природы гуситских войн. Выработывая марксистскую методику подхода к изучению народных движений, советские историки издали сборники тематически подобранных источников по Жакерии и восстанию Уота Тайлера [4; 5]. В предисловиях к этим публикациям затрагивались методологические проблемы, связанные с выступлениями феодально-зависимых крестьян и городских низов.

Первые успехи исторической науки позволили взяться за создание марксистской концепции всемирно-исторического процесса, что неизбежно потребовало привлечения материала по истории славянских народов. Интерес к прошлому славян возрастал также из-за событий кануна и начала второй мировой войны, когда некоторые славянские народы, и в частности чехи, явились жертвами гитлеровской агрессии.

Появился первый марксистский учебник истории средних веков [6], в котором вопросам классовой борьбы как движущей силы исторического процесса уделялось самое пристальное внимание. Авторы не обошли и славянскую тематику. Гуситское движение рассматривалось в главе «История Чехии XI—XV вв.», написанной Е. А. Косминским. В ней дана иная интерпретация событиям, вытекающая из методологических положений книги Ф. Энгельса «Крестьянская война в Германии». В результате, основное внимание уделялось народным массам, возглавлявшимся революционной «партией» таборитов. Е. А. Косминский сумел наметить главную проблематику гуситского революционного движения. В учебнике

¹ Основопологающим явилось Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 16 мая 1934 г. «О преподавании гражданской истории в школах СССР» [3].

ставились вопросы о социально-экономических предпосылках гуситских войн, об их идеологической подготовке и роли Яна Гуса в выработке антифеодальной идеологии низов чешского общества. Особо выделялась проблема сочетания социального, национального и религиозного моментов в идеологии гуситов. Ставились вопросы, связанные с расстановкой классовых сил накануне событий и их перегруппировкой в ходе движения. Давалась классовая оценка программных требований различных социальных сил, участвовавших в борьбе. Раскрывалось историческое значение гуситской эпопеи. Автор подчеркнул, что по своей организации, упорству, длительности и радикализму гуситское движение превосходило все предшествующие выступления народных масс в Европе. В главе отмечено положительное значение гуситских войн для внутренней истории Чехии — было подорвано засилье немецкого патрициата и немецких феодалов. Говорилось и о революционизирующем влиянии гуситского движения на соседние страны. Анализ событий и явлений был дан столь глубоко, что он в основном соответствует нашим сегодняшним представлениям. Не случайно глава заинтересовала чехословацких историков-коммунистов, стремившихся овладеть материалистической методологией изучения выступлений народных масс². Естественно, что из-за отсутствия фундаментальных марксистских исследований по проблеме крестьянской войны в Чехии XV в. не удалось избежать недочетов в выявлении причинно-следственных связей и даже мелких фактических ошибок. Но не они определяют историографическое значение главы. Главное — продолжалась кардинальная ломка взглядов и концепций, выработанных в дореволюционном славяноведении.

На развитии гуситских исследований благотворно сказалось создание осенью 1939 г. на историческом факультете МГУ кафедры истории южных и западных славян. В том же году образовался сектор славяноведения в Институте истории АН СССР. И сектор и кафедру возглавил В. И. Пичета³.

Неоценимое значение для развития гуситологии имело то обстоятельство, что в работе кафедры и сектора принял участие З. Неедлы, который в 1939 г. после оккупации Праги гитлеровцами эмигрировал из Чехословакии в Советский Союз. Сразу же по прибытии в Москву З. Неедлы включился в работу коллектива сектора славяноведения, а с осени того же года стал профессором кафедры истории южных и западных славян в МГУ⁴ и одновременно сотрудничал на кафедре истории средних веков, где вел семинарские занятия. Среди прочих лекций он стал читать «Историю Чехии» и «Чешскую историографию» [10]. В них ученый уделял много внимания источникам по гуситскому движению и историографии этой проблемы, постоянно находившейся в центре его научных поисков. З. Неедлы излагал слушателям свою точку зрения на гусизм, сложившуюся у него на основании многолетнего изучения проблемы, трудов основоположников марксизма-ленинизма и в процессе общения с широким кругом советских историков [2, с. 49—51]. В 1940 г. под его руководством первые выпускники МГУ, специализировавшиеся по славяноведению, защитили дипломные работы. Среди них были работы и по истории гусизма.

Марксистское мировоззрение З. Неедлы проявлялось и в классовой оценке источников, и в интерпретации всего хода гуситского революционного движения. З. Неедлы в своих лекциях стремился показать социальное содержание проповедей Яна Гуса, резко критиковал буржуазных ученых, изображавших гуситов разрушителями культуры. По инициативе З. Неедлы в 1940 г. были подготовлены к публикации исторические документы и в их числе русский перевод «Хроники Лаврентия из Бржезовой», выполненный В. С. Соколовым. Из-за условий военного

² В частности учебник внимательно штудировал Курт Конрад [7].

³ О роли, которую сыграл В. И. Пичета в становлении и развитии советского славяноведения, см. [8].

⁴ В докладной записке декану исторического факультета В. И. Пичета писал: «К счастью, в Советском Союзе находится проф. Неедлы... Приглашение его обеспечит преподавание истории Чехии» [9, с. 180].

времени от этой публикации пришлось отказаться, и хроника была издана позднее [11]. Но рукопись хранилась на кафедре, где ею пользовались студенты, аспиранты не только МГУ, но и других вузов и учреждений.

С ростом интереса к прошлому славянских народов ощущалась потребность подвести итоги исследованиям по их истории. Необходимо было отмежеваться от ряда реакционных тенденций дореволюционного славноведения, показать новые направления и в то же время подчеркнуть известную традиционность славяноведческих сюжетов для отечественной науки. Первым проанализировал историографию русской славистики с марксистских позиций В. И. Пичета [12, с. 36—62], связав развитие славноведения в России с научными интересами и политической обстановкой в середине XX в. Он показал, что буржуазным исследователям гусизма было чуждо «представление о религиозном движении как о форме социально-политического протеста, столь обычного в средние века» [12, с. 48]. Ученый подчеркнул необходимость глубокого изучения социально-экономической предыстории гуситских войн. Одновременно он предостерег от нигилистического отношения к трудам буржуазных ученых, собравших огромный фактический материал⁵.

В период Великой Отечественной войны советские ученые опубликовали материалы, в которых рассматривалось военное прошлое славянских народов, межславянские связи. Чешско-русским отношениям в период гуситских войн посвятил свою статью «Гуситы и русские» З. Неедлы. Историк прежде всего подчеркнул классовый характер гуситского движения, затем остановился на национальном вопросе, который в свою очередь был вызван классовым расслоением общества. С большой страстью он писал, что чешский народ восстал против режима угнетения и «против немцев, которые в Чехии были наиболее яркими представителями класса угнетателей» [13]. Статья З. Неедлы основывалась на многочисленных источниках, имела богатый научный аппарат, который существенно облегчал работу последующих гуситологов в СССР. Она не утратила своего научного значения и в настоящее время. В 1944 г., когда советские войска начали освобождать его родину от фашистских оккупантов, чехословацкий ученый выступил с другой статьей — «Ян Гус» [14], в которой он прослеживал появление у гуситов идеи родства славянских народов, рост славянского самосознания. Но в то же время Неедлы несколько преувеличивал роль Гуса, представив его «вождем народного движения среди чехов против феодалов, против угнетателей широких народных масс» [14, с. 35]. Последующие исследования показали ошибочность такого утверждения [15; 16].

Гуситским движением интересовался и акад. Н. С. Державин. Он считал, что «гуситские войны — это величественная эпопея борьбы угнетенного чешского народа за свое национальное раскрепощение» [17]. Он призвал изучать их прежде всего как борьбу классов, как историю борьбы крестьянства против эксплуататоров. Придавая гусизму исключительное значение, ученый в брошюре «Героическая борьба народов Чехословакии с немецкими варварами» употребил термин «гуситская революция (1420—1431)» [18]. Но через год Н. С. Державин отказался от него, возможно потому, что реальных предпосылок к созданию в средневековой Чехии общества с принципиально иной социально-экономической основой не было. Тогда же автор попытался уточнить хронологические рамки событий [19]. Основное внимание в этих работах автор обратил на борьбу гуситов с крестоносцами, что было обусловлено обстановкой военной поры, как и публицистическая форма изложения.

К этому же времени относится и появление очерка Н. П. Грацианского «Новое наступление немецких захватчиков на славянские государства с XIII—XV вв.» [20]. С особым вниманием автор остановился на гуситских войнах, которые привлекали его прежде всего как героическая

⁵ Так, проанализировав работы А. Н. Ясинского, В. И. Пичета сделал важный вывод: «Историк средневековой Чехии, конечно, не может обойтись без трудов А. Н. Ясинского, использовавшего для своих исследований громадный конкретный материал» [12, с. 48]. Дальнейшее развитие историографии полностью подтвердило такое мнение.

страница чешской национальной истории. Однако о классовом характере движения в работе упоминается вскользь. Там сказано лишь о росте в чешском народе оппозиции церкви и о том, что социальное учение таборитов поднимало народ против феодалов, что в рядах гуситов сражались в основном крестьяне и ремесленники. Зато Грацианский подчеркивал национальную сторону гусизма и заявлял, что «причины возникновения гуситского движения нужно искать в возросшем сопротивлении чешского народа немецкой агрессии» [20, с. 74]. Н. П. Грацианский в своем очерке оценил положительную роль гуситского движения в укреплении национального самосознания чехов и особенно в создании национальной культуры и традиции.

В осажденном Ленинграде проф. К. А. Пушкиревич в конце 1941 г. завершил брошюру, посвященную героическим страницам истории чешского народа [21]. Несмотря на некоторые фактические неточности, достоинство работы в том, что в ней передан пафос национального подъема чехов в XV в., которые вели героическую борьбу с классовым врагом, получавшим поддержку извне. Понимая огромную роль Яна Гуса в истории чешского народа, К. А. Пушкиревич был склонен представить его «подлинным революционером, стремящимся перестроить всю общественную жизнь на новых основаниях»⁶ [21, с. 43]. Историки не согласились с таким утверждением. И. Ивашин отметил, что Гус не во всем и не всегда стоял на революционных позициях. Народные массы делали из учения магистра более радикальные выводы [22]. Это мнение прочно вошло в советскую историографию. Несколько позже А. И. Клибанов выступил со статьей [23]. Она явилась свидетельством уважения к памяти чешского национального героя. В статье говорилось, что живость и яркость изложения сочинений, подобных трактату «О святокупстве», остроумная игра слов в чешских проповедях Гуса, сближают его с ранним итальянским гуманистом Боккаччо.

А. И. Клибанов установил, что Гус, вопреки средневековому аскетизму и отрицательному отношению к браку со стороны католического духовенства, не был противником семьи и высказывал гуманистические соображения об отношениях внутри этой ячейки общества. Выдвинутый Гусом принцип равенства в браке являлся новаторским и выходил за рамки представлений того времени. Мысли Я. Гуса о браке, семье и воспитании позволяют его считать предвестником гуманистической педагогики в Европе. Эту сторону учения чешского магистра внимательно изучал Ян Амос Коменский⁷.

Так, в условиях жестокой борьбы с фашистскими захватчиками героический пафос гуситского движения стал созвучен настроению советских людей. Работы военной поры отличались, как правило, тем, что элементы описательности преобладали в них над элементами анализа. Заботясь о яркости и публицистичности своих работ, ученые старались придать им популярную форму.

После победы Советского Союза в Великой Отечественной войне возрос интерес к истории славянских стран, в которых проходили глубокие социально-экономические изменения. В студенческие аудитории, на кафедры возвращались люди, освобождавшие славянские земли от фашистских оккупантов и желающие изучать историю народов, населяющих Восточную и Центральную Европу. Необходимо было усилить исследовательскую деятельность по славянской проблематике. В январе 1947 г. в системе научно-исследовательских учреждений АН СССР был создан Институт славяноведения, в котором сосредоточились все отрасли славяноведческой науки. В Институте обсуждались направления и проблематика многих исследований, устанавливались научные связи с историками славянских стран. Печатные органы Института помогли объединить усилия славистов-историков в разных городах Советского Союза для раз-

⁶ Критический разбор работы дан в статье [2, с. 43].

⁷ Вопрос об отношении Гуса к гуманистической идеологии продолжал разрабатываться и в послевоенной историографии [16].

работки наиболее актуальных проблем славяноведения. Научно-исследовательский план Института предусматривал темы, посвященные Чехии XIV-XV вв. Особое значение придавалось разработке проблем социально-экономических и политических предпосылок Крестьянской войны XV в. в Чехии и исследованию движущих сил гусизма. Ставился вопрос об анализе последствий событий первой половины XV в. для Чехии и всего региона. В. И. Пичета, будучи заместителем директора Института, нацеливал внимание исследователей на то, чтобы они дали отпор прокатолическим и пронемецким историкам, которые, пропагандируя антинациональную предмюнхенскую политику, относились отрицательно к таборитскому движению и «объясняли упадок Чехии после Белогорской битвы 1620 г. исключительно деятельностью Гуса, в особенности деятельностью таборитов» [24].

Под руководством В. И. Пичеты появилась одна из первых работ Института славяноведения [25]. В книге много места отводилось истории гусизма, характеристике социально-экономических и политических предпосылок этого явления. Был привлечен обширный материал, использовались труды А. Н. Ясинского, давшего анализ социальных последствий немецкой колонизации в стране. Третья глава — «Реформация в Чехии» (авторы Г. Э. Санчук и Б. М. Руколь) посвящалась возникновению гусизма и гуситским войнам. В ней впервые в советской историографии раскрывалась деятельность предшественников Я. Гуса, что позволило показать отечественные корни учения магистра, обосновать мысль о том, что выступление Гуса явилось результатом назревания внутренних классовых противоречий. Было указано на тесную связь Гуса с пражским бюргерством и антинемецки настроенным рыцарством. Авторы уточнили состав «партий» в гуситском движении и особо подчеркнули, что основную массу таборитов составляли крестьяне. Была сделана попытка даже выявить характер аграрных отношений в предгуситской Чехии, для чего авторы привлекли некоторые трактаты Петра Хельчицкого, зафиксировавшие тяжелое положение крестьянства. В книге верно определялась позиция разорявшегося рыцарства: «...в стремлении захватить панские земли и улучшить свое материальное положение они стали попутчиками, хотя и не вполне надежными, восставшего народа» [25, с. 67]. Книга сыграла существенную роль в истории советской гуситологии.

Уже в конце войны стали формироваться кадры специалистов по средневековой Чехии. С середины 40-х до середины 50-х годов в Москве, Ленинграде, Саратове, Воронеже и Вильнюсе было защищено пятнадцать кандидатских диссертаций по различным аспектам предистории и истории гуситского движения [1, с. 11]. В 1943 г. защитила кандидатскую диссертацию «Ян Гус в историографии» Б. М. Руколь, которую выполнила под руководством Э. Неядлы [9, с. 73]. В работе изложено развитие взглядов на Гуса в феодальной и буржуазной историографиях. Приведена оценка Гуса основоположниками марксизма. Позже она переключилась на исследование деятельности одного из соратников Гуса Иеронима Пражского⁸.

В. И. Пичета и Э. Неядлы побудили Г. Э. Санчука к исследованию законодательства Карла I (чешского), важного для понимания обстановки в Чехии в момент выступления предшественников Гуса. В 1946 г. Санчук сделал в секторе славяноведения доклад о чешском земском законнике [28]. Это была своего рода заявка на исследование проблемы национальной политики чешского короля. Позднее (в июне 1950 г.) он защитил кандидатскую диссертацию на аналогичную тему, в которой не ограничился исследованием этого источника, а коснулся ряда существенных вопросов социального развития страны. И прежде всего автор попытался анализировать состояние производительных сил как определяющего фактора развития чешской общественной структуры.

⁸ В 1946 г. Б. М. Руколь выступила с докладами «Взгляды Иеронима Пражского и программа таборитов» и «Письмо Поджио Браччиолини» [26]. В 1951 г. была опубликована ее статья [27].

В 1948 г. защитил кандидатскую диссертацию «Социально-политические взгляды таборитов на первом этапе движения» П. И. Резонов, сумевший выявить определяющее значение таборитского движения в формировании антифеодальной и национальной программы эксплуатируемых слоев чешского народа в XV в. Диссертация послужила основой для последующих выступлений П. И. Резонова по гуситской проблематике⁹. Тогда же защитил кандидатскую диссертацию «Пражане и табориты» А. И. Озолин. Этим вопросом исследователь занимался еще в предвоенные годы. Опираясь на труды основоположников марксизма-ленинизма, а затем на конкретно-исторические исследования советских ученых Озолин начал исследовать проблему классовой борьбы в феодальном обществе. В его диссертации дана развернутая характеристика бюргерской и особенно таборитской оппозиции, прослежено взаимоотношение партий, указаны основные этапы движения. Работа содержит общий характер хода гуситских войн, написанный на основе изучения большого числа источников.

К началу 50-х годов возобладала марксистская точка зрения на гуситство. Правда, некоторые из перечисленных работ несли на себе определенные негативные черты исторической науки того времени: известный схематизм и упрощение в анализе сложного исторического явления. Тем не менее были выявлены классовый состав основных течений в гусизме, их программы, определены главные этапы движения. Именно в то время, в 1948 г., началась работа над первым томом «История Чехословакии», в котором гусизм отражен достаточно полно¹⁰.

В июне 1951 г. А. С. Сазонова защитила кандидатскую диссертацию «Социально-политические и национальные требования в учении Яна Гуса»¹¹. Тщательный анализ чешских сочинений магистра позволил установить, что Гус являлся выразителем интересов бюргерской оппозиции, недовольной католической церковью и засилием немецкого элемента в городской общине. Вскрыть социальное содержание учения, заключенного в религиозную оболочку, молодому ученому помогли работы других советских авторов по идеологии средневековья, и в первую очередь монография М. М. Смирин «Народная реформация Томаса Мюнцера»¹². Представители различных буржуазных школ объясняли истоки учения Гуса филиацией идей. Сазонова искала доказательства того, что определяющее значение в их возникновении имела чешская действительность второй половины XIV — начала XV в.

Гуситология твердо становилась на ноги. Нехватало только исследований, специально рассматривающих базисные факторы, проблему производственных отношений, вопросы реализации феодальной собственности. Но уже готовились диссертации, в которых углубленно изучались социально-экономические процессы, вызвавшие обострение классовых и национальных конфликтов в Чехии XV в.

А. И. Виноградова провела обширное исследование о чешском предгуситском городе [32]. Она выявила условия происхождения средневекового чешского города, попыталась проследить место города в системе феодальных общественных отношений. В центре ее внимания стояла социальная структура городского населения. Виноградова показала отрицательные последствия немецкой городской колонизации, повлиявшей на процесс формирования чешского бюргерства, вступившего вместе с другими городскими слоями в борьбу против немецкого патрициата. В советской

⁹ П. И. Резонов явился автором ряда разделов главы «Гуситское революционное движение» в коллективной монографии «История Чехословакии».

¹⁰ Книга увидела свет позднее [29].

¹¹ Основные идеи диссертации получили отражение в ее статьях [15; 30].

¹² М. М. Смирин затронул в работе и некоторые аспекты учения таборитов, но лишь те, которые были необходимы для доказательства наличия у таборитов следов сектантской ограниченности. Преодолеть ее, считал Смирин, удалось впервые Мюнцера [31].

историографии подобных работ по чешскому городу не было. В постановке урбанистских проблем, в методах подхода к источникам А. И. Виноградова ориентировалась на марксистские труды по средневековым городам на Руси и в Западной Европе ¹³.

Б. Т. Рубцов еще студентом начал исследовать формы феодальной ренты в предгуситской Чехии [34]. В своей диссертации, он проследил усиление феодальной эксплуатации чешского крестьянства к началу XV в. [35]. Автор выявил общие тенденции в развитии форм феодальной ренты и попытался определить ее локальные особенности на территории Чехии конца XIV — первых десятилетий XV в. Некоторые чехословацкие историки высказали свое несогласие с его характеристикой системы крестьянских повинностей Юга, Центра и Севера Чехии. Завязалась интересная дискуссия, способствовавшая углубленному изучению проблемы [36; 37].

В те же годы защитил диссертацию «Аграрные отношения в Чехии XIII—XIV вв.» и автор данной статьи [38]. Он показал, что рост производительных сил в земледелии способствовал развитию товарных тенденций в этой основной области феодального производства. Среди феодалов возрастало стремление к обогащению, что повлекло за собой ухудшение экономического и юридического положения крестьянства и обострение классовых противоречий, вылившихся в конечном итоге в гуситские войны. На плечи подавляющей части крестьянства ложились дополнительные тяготы, связанные с приспособлением хозяйства к коммунутированному виду ренты. В такой обстановке неизбежно обострялись основные экономические и классовые противоречия феодализма. Специальным предметом рассмотрения явилась немецкая сельская колонизация в страну и ее социальные последствия.

В результате проделанной работы советские историки располагали марксистской методологией исследования и фактами, добытыми непосредственно из источников. Были выявлены основные причинно-следственные связи между событиями и явлениями. Это не могло не сказаться на чехословацкой гуситологии, переживавшей период становления на рубеже 40—50-х годов нашего столетия. Сосредоточивая внимание на главном, советские исследователи обосновали ошибочность оценки XIV — начала XV в. в истории Западной Европы как времени «первого» или «всеобщего» кризиса феодализма и вытекающей отсюда попытки представить гуситские войны в качестве рашней буржуазной революции [39]. Борьба за марксистское понимание природы гусизма способствовала решению ряда теоретических вопросов, связанных с закономерностями развития феодальной социально-экономической формации [40].

Таким образом, советские исследователи, опираясь на достижение всей советской исторической науки, используя опыт и знания таких ученых, как В. И. Пичета, З. Р. Неядлы, Б. Д. Греков, Е. А. Косминский и других решили ряд важных проблем, относящихся к гуситскому революционному движению. Seriously исследовались его предпосылки. Советские историки одновременно со своими чехословацкими коллегами пришли к выводу об увеличении размеров феодальной ренты, взимавшейся с зависимого крестьянства, установили рост социальных и национальных противоречий в Чехии в начале XV в., начали изучать идеологию борющихся группировок, проследили зависимость национальных требований от классовых интересов, выяснили основные черты учения Яна Гуса и определили его классовый характер ¹⁴. В этот период закладывались также основы марксистского источниковедения и научной историографии вопроса. Таким образом, общая оценка гуситского революционного

¹³ В частности, была использована работа [33].

¹⁴ Буржуазная наука видела в Гусе только церковного реформатора и национального деятеля. Ей чуждо было внимание того, что в средние века «...все революционные — социальные и политические доктрины — должны были по преимуществу представлять и з себя одновременно и богословские ереси» [41].

движения как ранней церковной реформации и национально-чешской крестьянской войны получила солидное подтверждение. Выдвигались проблемы исследования генезиса социально-политических взглядов таборитов и их связи с учением Яна Гуса, роли в движении городской бедноты, международного значения гуситских войн, их последствия для социального и национального развития Чехии. Продолжалось исследование социально-экономического положения на рубеже XIV—XV вв.

Углубленное изучение истории гуситских войн происходило на фоне расширения медиэвистических исследований, и гуситологи внесли свой вклад в материалистическое понимание существа исторического процесса в эпоху феодализма, роли в нем народных масс.

ЛИТЕРАТУРА

1. Митряев А. И. Советская историография гуситского движения. Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. ист. наук. Харьков, 1971.
2. Санчук Г. Э. Гуситское движение в советской историографии. — В сб.: Вопросы историографии и источниковедения славяно-германских отношений. М., 1973.
3. Правда, 1934, 16 мая.
4. Грацианский Н. П. Французская деревня XIV—XV вв. М. — Л., 1935.
5. Косминский Е. А., Петрушевский Д. М. Английская деревня XIII—XIV вв. и восстание Уота Тайлера. М. — Л., 1935.
6. История средних веков, т. I. Под ред. А. Д. Удальцова, Е. А. Косминского, О. Л. Вайнштейна. М. — Л., 1938; т. II под ред. С. Д. Сказкина, О. Л. Вайнштейна. М. — Л., 1939.
7. Konrad K. Dějiny husitské revoluce. Praha, 1964.
8. Королюк В. Д. Владимир Иванович Пичета. — Славяне в эпоху феодализма. К столетию академика В. И. Пичеты. М., 1978.
9. Историки-слависты Московского университета. 1939—1979. М., 1979.
10. Королюк В. Д. Памяти Зденка Неядлы (1872—1962). — Вопросы истории, 1968, № 4.
11. Лаврентий из Бржезовой. Гуситская хроника. М., 1962.
12. Пичета В. И. К истории славяноведения в СССР. — Историк-марксист, 1941, № 3.
13. Неядлы З. Гуситы и русские. — Исторический журнал, 1941, № 10—11, с. 124—125.
14. Неядлы З. Ян Гус. — Славяне, 1944, № 7.
15. Сазонова А. С. Социально-политические и национальные требования в учении Яна Гуса. — Уч. зап. Ин-та славяноведения, т. XVI. М., 1958.
16. Липатникова Г. И. Ян Гус (К 550-летию со дня гибели). — Вопросы истории, вып. 2. Воронеж, 1966.
17. Державин Н. С. Историческая наука у славян и задачи советского славяноведения. — Исторический журнал, № 11, с. 45.
18. Державин Н. С. Героическая борьба народов Чехословакии с немецкими варварами. М. — Л., 1942, с. 20.
19. Державин Н. С. Вековая борьба славян с немецкими захватчиками. М., 1943, с. 37.
20. Вековая борьба западных и южных славян против германской агрессии. Под ред. проф. З. Неядлы. М., 1944.
21. Пушкаревич К. А. Чехи. М., 1942.
22. Ивашин И. Рецензия на кн.: Пушкаревич К. А. Чехи. — Исторический журнал, 1943, № 2, с. 98.
23. Клибанов А. И. Мысли Яна Гуса о воспитании. — Советская педагогика, 1944, № 2—3.
24. Пичета В. И. Институт славяноведения АН СССР и его задачи. — Вопросы истории, 1947, № 5, с. 166.
25. История Чехии. Под ред. акад. В. И. Пичеты. М., 1947.
26. Пичета В. Сектор славяноведения Института истории АН СССР. — Вопросы истории, 1946, № 10, с. 153.
27. Руколь Б. М. Письмо Поджио Браччиолини к Леонардо Аретинскому и рассказ Младеновица как источники об Иерониме Пражском. — Уч. зап. Ин-та славяноведения, т. 3. М., 1951.
28. Санчук Г. Э. Majestas Carolina Карла I чешского (императора Карла IV) как источник для изучения земского права Чехии XV в. — Уч. зап. Ин-та славяноведения, т. 1. М., 1948, с. 240—256.
29. История Чехословакии. Т. I. Под ред. Г. Э. Санчука и Н. Третьякова. М., 1956.
30. Сазонова А. С. Социально-политические и национальные требования в учении Яна Гуса. — Краткие сообщения Института славяноведения, вып. 9, 1952.
31. Смирин М. М. Народная реформация Томаса Мюнцера. М. — Л., 1947.
32. Виноградова А. И. Чешский город в XIV в. (рукопись дис. на соискание уч. ст. канд. ист. наук). М., 1952.

33. *Столлицкая-Терешкович В. С.* Очерки по социальной истории немецкого города в XIV—XV вв. М., 1938.
34. *Рубцов Б. Т.* Чехия накануне гуситского движения.— Труды Одесского гос. ун-та, т. 67, 1950.
35. *Рубцов Б. Т.* Эволюция феодальной ренты в Чехии и ее влияние на ухудшение положения крестьянства накануне Великой крестьянской войны XV в. (Рукопись дис. на соискание уч. ст. канд. ист. наук). М., 1953.
36. *Рубцов Б. Т.* Исследования по аграрной истории Чехии XIV — начала XV в. М., 1963, с. 234, прим. 146.
37. *Rubcov B.* Ještě o některých sporných otázkách agrárního vývoje.— Československý časopis historický, 1970, t. 18, № 6.
38. *Иванов Ю. Ф.* Аграрные отношения в Чехии XIII—XIV вв. (Рукопись дис. на соискание уч. ст. канд. ист. наук). М., 1954.
39. *Резонов П. И., Санчук Г. Э., Озолин А. И.* Гуситское революционное движение в новых работах чехословацких историков.— Вопросы истории, 1954, № 10.
40. *Иванов Ю. Ф.* К истории предгуситской Чехии.— Вопросы истории, 1967, № 2
41. *Маркс К. и Энгельс Ф.* Сочинения, т. 7, с. 361.



САМОЙЛЕНКО Г. В.

А. А. ФАДЕЕВ И СЛАВЯНСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Литературно-критическое наследие А. Фадеева, выдающегося советского писателя и общественного деятеля, включает в себя немало интересных материалов, относящихся к истории славянских литератур.

Связь А. Фадеева с украинской и белорусской литературами нашла освещение в работах Б. Л. Беляева, Д. К. Кондратьевой, И. Т. Крука, П. П. Охрименко, а также в книге «Александр Фадеев и Украина» и статьях автора этих строк. Однако восприятие и оценка А. Фадеевым чешской, словацкой, польской, болгарской литератур изучены еще недостаточно. В книге чехословацких исследователей М. Заградки и Ц. Кучеры [1] рассказано о пребывании писателя в стране в 1935, 1938, 1946, 1951 гг., о распространении там его произведений. Однако литературно-критические статьи А. Фадеева о чешской и словацкой литературах не подвергались детальному анализу.

В настоящей статье мы попытаемся раскрыть восприятие и оценку А. Фадеевым славянских литератур и их отдельных представителей. А. Фадеев хорошо знал славянские литературы, особенно творчество А. Мицкевича, Г. Сенкевича, Я. Неруды, Я. Коллара, П. Гвездослава и др. Как вспоминал болгарский писатель Л. Стоянов, на А. Фадеева еще в студенческие годы сильное влияние оказал роман Вазова «Под игом» [2].

Основные процессы, которые происходили в чешской и словацкой литературах, Фадеев раскрыл в статьях «Советская художественная литература» (1938); «Единение славянских народов в борьбе против гитлеризма» (1941); «К 528-й годовщине сожжения Яна Гуса» (1943); «Ян Коллар» (1943); «О традициях славянской литературы» (1946), а также в очерке «Литература Чехословакии» из цикла «По Чехословакии 1938 года». В них автор подчеркивал, что эти литературы имеют богатые и славные традиции, связанные с борьбой чехословацких деятелей культуры за создание национального искусства, литературы на родном языке. Особое место А. Фадеев отводил «будителям», выходцам из народа, представителям мелкобуржуазной интеллигенции, которые много сделали для возрождения национального языка и литературы, без чего немислимо было дальнейшее развитие нации и ее культуры. «Благодаря этому лингвистика и литература периода национального возрождения приобрели демократический характер. Деятели, закладывавшие основы чешской культуры нового времени, являлись прямыми наследниками национальных культурных завоеваний прошлого» [3].

А. Фадеев хорошо понимал значение таких «будителей», как Й. Юнгман, П. Й. Шафарик, Ф. Палацкий и др. «Нестером новой чешской литературы» назвал он Й. Юнгмана, высоко оценивая его капитальный труд — пятитомный «Чешско-немецкий словарь» (1835—1839), который оказал «огромное влияние на юношество» и буквально определил «жизнен-

ный; путь таких виднейших просветителей чешского народа, как Шафарик и Палацкий» [4, т. 5, с. 393].

Расцвет чешской литературы XIX в. А. Фадеев связывал с именами известных чешских писателей В. Ганки, Я. Коллара, Ф. Челаковского, К. Эрбена, К. Маха, а также Г. Гавличека-Боровского, Божены Немцовой, В. Галека и др.

Яну Коллару, выдающемуся поэту не только чешской, но и словацкой литературы, А. Фадеев посвятил специальную статью, где подчеркивал, что Коллар был певцом угнетенных славян и призывал их к единению против общего врага. «У Коллара идея славянского единства, — писал А. Фадеев, — пронизана глубочайшим гуманизмом, духом свободы народов:

Тот, кто свободы достоин, — и в чуждых оценит свободу,
Цепи куяющий рабам — сам есть невольник и раб.

На всех высказываниях Коллара лежит печать изумительного благородства:]

Девиз наш — честь. Пускай умрем, но жить
Не будем вероломством и обманом» [4, т. 5, с. 394—395].

Анализируя основной труд поэта — поэму «Дочь Славы», которая «началась с любовных сонетов, обращенных к Мине, сонетов в духе Петrarки, и разрослась в мощную, то страстную, то гневную, то лирическую, то философскую поэму-симфонию в духе Данте и Байрона, но совершенно самобытную, в кованных, порой тяжеловесных, но всегда полных вдохновенного пафоса чешских стихах» [4, т. 5, с. 393], А. Фадеев выделял в ней места, связанные с прославлением народных героев, борцов, обличением иноземных завоевателей и призывом к славянским народам объединиться в борьбе за освобождение. Выделял он и тему русского народа, раскрытую поэтом с необычайной художественной силой.

Высоко ценил А. Фадеев творчество Яна Неруды, которое было тесно связано с судьбой народа. Стихотворение «Всему был рад!» он считал программным для Я. Неруды, ибо здесь были выражены гражданская и эстетическая позиции поэта. Советский писатель хорошо знал и критические статьи Я. Неруды, неоднократно их цитировал. Чешский писатель Франтишек Кубка в воспоминаниях о А. Фадееве писал, что «Неруда был чрезвычайно близок ему как прозаик и поэт-реалист, как труженик слова, патриот и демократ» [5].

По мнению А. Фадеева, именно те процессы, которые породили в Чехии движение «будительства» и свою национальную литературу, выдвинули из среды словацкого народа такие прекрасные литературные имена, как Л. Штур, Я. Краль, П. Гвездослав, С. Ваянский, И. Краско и др.

Первым в списке писателей он заслуженно поставил имя Л. Штура, создателя современного словацкого языка, прекрасного поэта-романтика, основателя целой школы в словацкой литературе. Реформа, проведенная в 1843 г. Л. Штуром и его сторонниками в области словацкой лингвистики, способствовала развитию национальной литературы. «Переход на язык широких масс трудового народа был важным шагом на пути демократизации литературы, которая ориентировалась отныне на крестьянство, пробуждая в нем национальные чувства, поднимая на борьбу за демократические преобразования» [6].

А. Фадеев не анализировал романтическое творчество Л. Штура, а обращал внимание только на языковую реформу, которую тот совершил, на тяжелое положение, в котором оказался выдающийся поэт и общественный деятель после революции 1848—1849 гг. «Штур, — писал А. Фадеев, — преследуемый мадьярской властью в Словакии, жил в селе у брата, недалеко от Турчанского св. Мартина, где и умер в пятидесятых годах прошлого века. Краль присутствовал при его смерти. Можно себе представить, какая непомерная тяжесть лежала на сердце у Краля, когда он стоял у изголовья умирающего друга и учителя в эту мрачную пору после поражения революции 1848 г. — один из немногих интеллигентов словацкого народа, — без опоры в народе, без будущего! Но он

принадлежал именно к тем деятелям этого народа, которые верили в будущее» [4, т. 6, с. 557].

В статье «О традициях славянской литературы» А. Фадеев развил эту мысль глубже, показал сложности культурного развития словацкого народа, имевшего немногочисленную интеллигенцию и фактически не знавшего своих поэтов. Подтверждает он свои мысли строками стихотворения известного словацкого поэта П. Гвездослава о том, «как ему хочется войти в сердце народа и как ему кажется, что народ его не понимает. И все-таки он пел своему народу, потому что не мог не служить ему» [4, т. 5, с. 433]. П. Гвездослав, — замечал А. Фадеев, — вывел словацкую литературу за рамки национальной ограниченности. Он перевел на словацкий язык произведения А. Пушкина, М. Лермонтова и других значительных поэтов.

В своих заметках «О классиках словацкой литературы» А. Фадеев также называл С. Ваянского, И. Краско, Я. Есенского и кратко характеризовал их творчество. А. Фадеев считал, что для классической чешской и словацкой литератур характерны тесная связь с народом, национально-освободительным движением, симпатии к русской культуре.

В наследии А. Фадеева есть немало интересных высказываний и о классиках польской литературы. Он перечитывал произведения А. Мицкевича, принимал участие в юбилейных торжествах, посвященных поэту. В 1940 г. наша страна отмечала 85-летие со дня смерти А. Мицкевича, отдавая дань глубокого уважения польскому народу, страдавшему в фашистской неволе. В конце октября 1940 г. ССН СССР учредил под председательством А. Фадеева общесоюзный юбилейный комитет, в который вошли и польские писатели В. Василевская и Т. Бой-Желеньский, позже расстрелянный гитлеровцами во Львове (1941). 26 ноября 1940 г. в Колонном зале Дома Союзов в Москве состоялся посвященный А. Мицкевичу вечер, открывая который А. Фадеев сказал: «Мы чествуем сегодня память великого польского писателя, воплотившего в своем творчестве гордый дух своего народа». Докладчик отметил, что «в стране социализма — истинной наследнице и продолжательнице величайших освободительных идей и культурных ценностей человечества — прекрасное творчество Адама Мицкевича стало достоянием всех народов СССР» [7]. В послевоенное время (1948) А. Фадеев также возглавлял юбилейный комитет по подготовке празднований, посвященных 150-летию со дня рождения великого польского поэта и произносил вступительное слово на вечере, подчеркнув, что эти торжества послужат делу дальнейшего укрепления братских связей между советскими и польским народами в совместной борьбе за мир, прогресс и демократию. А. Фадеев поддерживал все начинания, связанные с популяризацией творчества А. Мицкевича, изданием его произведений. Познакомившись в годы войны с работой М. Рыльского об А. Мицкевиче, А. Фадеев сразу же предложил перевести ее на русский язык, полагая, что она послужит укреплению дружбы между польским, русским и украинским народами [8, ед. хр. 621].

Осмыслия наследие прошлого как русской, так и других литератур, А. Фадеев подходил к нему, исходя из ленинских положений о двух культурах в каждой национальной культуре, и это давало ему возможность разобраться в сложных вопросах, связанных с творчеством конкретных представителей национальных литератур. К определению места того или другого художника слова в истории культуры, по его мнению, необходимо подходить дифференцированно, оценивать его поступки, мысли, руководствуясь принципом историзма. Именно так подошел А. Фадеев к оценке творчества известного польского писателя Генрика Сенкевича. Рассматривая проблемы национального искусства и анализируя конкретные литературные явления в докладе «Некоторые вопросы художественной литературы СССР...» (1939), он говорил: «Я думаю, что не ошибусь, что социалистическая Польша, а такой Польша обязательно будет... не сможет выбросить Генрика Сенкевича, хотя его национализм поворачивался значительной своей стороной против угнетенного Польшей украинского народа. (А. Фадеев имел здесь ввиду роман Г. Сенкевича «Огнем и мечом»,

1883—1884.) И такой национализм у Генрика Сенкевича выбросят без остатка, но то, что в нем было от освободительного движения Польши, все-таки останется» [8, ед. хр. 359].

Когда А. Фадеева спросили в Чехословакии, как строить новую социалистическую культуру, на какую культуру ориентироваться — на западную или восточную, — он ответил: «Ориентируйтесь прежде всего на самих себя, на ваше великое прошлое и будущее» [4, т. 5, с. 434]. За этими словами стояли как знание чешской и словацкой культур, имеющих большие литературные традиции, так и опыт в создании советской литературы.

А. Фадеев хорошо ориентировался в литературном процессе, который проходил в славянских литературах XX в. Он с гордостью называл имена крупнейших писателей: Ярослава Гашека, И. Ольбрахта, В. Незвала, М. Пуйманову, М. Майерову, Я. Кратохвила, П. Илемницкого, Л. Пастернака, В. Василевскую, Л. Стоянова, К. Белева и многих других, активно участвовавших в борьбе с фашизмом, за мир и демократию.

В годы второй мировой войны А. Фадеев принимал активное участие в работе Всеславянского комитета, неоднократно выступал с обращениями к славянским народам, статьями в печати. В статье «Единение славянских народов в борьбе против гитлеризма» А. Фадеев писал: «Теперь нет на земле ни одного славянского народа, который не подвергся бы кровавой агрессии германского фашизма. Угнетены чехи, словаки, карпато-украинцы, поляки, сербы, хорваты, черногорцы, словенцы, болгары, македонцы. Ведут смертельную борьбу за свое существование русские, украинцы, белорусы вместе с другими народами СССР.

Смертельная опасность угрожает существованию славянских народов... И в нынешней войне славянские народы должны объединиться для победы над общим врагом. Перед смертельной опасностью уничтожения всех славян надо забыть все, что когда-либо их разъединяло» [4, т. 5, с. 358 — 360].

А. Фадеев с негодованием говорил о том, как фашисты пытались уничтожить славянскую культуру, сжигали книги, разрушали памятники выдающимся писателям и деятелям культуры, грабили музеи и дворцы, расстреливали писателей, ученых. «Гибнут лучшие люди из среды рабочих, крестьян и интеллигенции. Кровь писателя Владислава Ванчур, профессоров Богумила Бакса, Иосифа Матоушка, Иосифа Пата, Ярослава Шторкана и десятков и сотен других лучших людей народа вопиет о мщении» [4, т. 5, с. 391]. К этому списку необходимо добавить имена писателей, которых А. Фадеев хорошо знал, с которыми общался в довоенное время: Ю. Фучик, Б. Вацлавек, К. Конрад, Я. Кратохвил, Н. Вапцаров, Т. Бой-Желеньский и др.

В этот период А. Фадеев поддерживал отношения со многими представителями славянской культуры, которые эмигрировали из своих стран и жили в Советском Союзе. Особую страницу в летописи межславянских литературных связей составляет дружба А. Фадеева с Вандой Василевской. Писательница эмигрировала из Польши, когда фашисты подошли к Варшаве, и в 1939 г. стала гражданкой СССР. В годы войны она возглавляла Союз польских патриотов в СССР, была одним из организаторов дивизии им. Костюшко [9], в качестве пропагандиста и агитатора Политуправления Советской Армии выступала на многих фронтах.

Роман В. Василевской «Пламя на болотах» вышел на польском и русском языках в 1940 г. и был тепло встречен критикой. А. Фадеев отмечал глубокое знание писательницей быта украинской деревни под гнетом буржуазной Польши. Его поразила «исключительная страстность автора», «глубокое сочувствие угнетенным людям»: «В. Василевская — настоящий художник. Достаточно прочесть на выборку отдельные места и главы книги» [4, т. 7, с. 124—125]. В то же время А. Фадеев указывал и на недостатки романа: «Изображение жизни крестьянина, осадника, иногда настолько перегружено бытовыми деталями, описаниями предметов и обстоятельств, что заслоняет целое... Отсюда некоторые типические художественные недостатки книги: растянутость, отсутствие экономии

в диалогах, излишне подробные описания природы, быта, дум и чувствований» [4, т. 7, с. 125].

А. Фадеев следил за дальнейшей судьбой трилогии, над которой работала В. Василевская уже в послевоенные годы. В 1946 г. вышли две книги романа. Вторая книга — «Звезды в озере» была написана В. Василевской еще в 1940 г. и пролежала, спрятанная, во Львове весь период немецкой оккупации. В этом романе писательница рассказала о воссоединении западных и восточных украинских земель, о жизни западных украинцев при Советской власти. «Факт написания такой книги польской писательницей есть факт незаурядный», — писал А. Фадеев [10, с. 199]. Он беспокоился о судьбе третьей книги — «Реки горят», в которой В. Василевская собиралась рассказать о сопротивлении западных украинцев вместе со всей Украиной немецко-фашистским захватчикам, о борьбе их с украинскими националистами, сотрудничавшими с фашистами, и об окончательной победе над врагами, о строительстве социализма в западных районах Украины (третья книга была опубликована в 1951 г., отдельным изданием вся трилогия вышла в 1952 г.).

У А. Фадеева есть отзывы и о других произведениях В. Василевской («Просто любовь», «Когда загорится свет»). Но особенно поразила его повесть «Радуга», опубликованная в «Известиях» в 1942 г. Прочитав ее, он сел за статью, однако обстоятельства помешали ему завершить ее, и в архиве писателя остались только план, записи и наброски, свидетельствующие о том, что он высоко оценивал это произведение, полное «страстной любви к советскому народу и смертельной ненависти к врагу» [4, т. 5, с. 377]. Он восхищался писательским мастерством В. Василевской, взявшей «предметом изображения жизнь одного села на одном из отрезков его существования под игом немцев ... сумела дать... многообразие могучих и цельных характеров наших советских людей» [11].

Об этой повести А. Фадеев говорил также на совещании в Союзе советских писателей в марте 1943 г.: «Василевская написала эту вещь в период Отечественной войны — исключительно темпераментную, страстную, полную ненависти вещь — о братском украинском народе ... Повесть Ванды Василевской — изумительная книга именно в силу присущих ей черт, написанная писательницей польского народа, за которой стоит новое сознание, свойственное целому массиву польского народа; книга польской писательницы в такой момент, книга польской писательницы о национальной гордости украинского мужика — в этом ее великая сила» [8, ед. хр. 619; 10, с. 107—108].

А. Фадеев был настоящим другом В. Василевской, высоко оценивал ее произведения, прямо и открыто говорил о недостатках, ибо знал, что у нее был «правдивый, взволнованный, подчас жестокий, но глубоко человеческий и светлый талант» [4, т. 7, с. 466], и она еще сможет много сделать для развития польской и советской литератур. Долгие годы работая вместе с В. Василевской во Всемирном Совете Мира, он говорил: «Крепкий человек Ванда. И сердце у нее настоящее, человеческое. Большое сердце» [12].

А. Фадеев высоко ценил также творчество и деятельность известного болгарского писателя Людмила Стоянова, с которым неоднократно встречался в Москве. В приветственной телеграмме по случаю 60-летия со дня его рождения он писал от имени Президиума ССП СССР, что советские люди с благодарностью вспоминают большую работу, которую проделал Л. Стоянов по укреплению связей прогрессивных писателей Болгарии с советскими писателями, его переводы русских классиков и советских авторов, которые служили великому делу взаимного сближения литератур и народов: «Мы помним, что и в мрачные годы фашистской реакции в Болгарии Вы мужественно поднимали голос писателя-гражданина в защиту Советского Союза, в защиту мира, подлинной демократии и культуры. Вашими стихами в годы второй мировой войны болгарский народ перед лицом фашистских захватчиков заявил: „Союза мы хотим с тобой, Москва“» [13].

Встречаясь с представителями славянских литератур как в предвоен-

ные, так и в послевоенные годы, А. Фадеев помогал им познать сущность социалистического реализма, понять его особенности по сравнению с критическим реализмом и другими литературными направлениями. Социалистический реализм,— подчеркивал А. Фадеев, выступая с лекцией о советской литературе в пражской городской библиотеке, которую он повторил в г. Брно,— не догма творчества, не аршин для измерения достоинств и недостатков произведения, не рецепт изготовления художественных произведений, а результат многолетней работы советских художников самых различных индивидуальностей и особенностей мастерства. «Почему — р е а л и з м? Потому что реализм есть жизненная правда, а правда есть знамя народа, переделывающего старый мир в новый.

Почему социалистический реализм? Потому что в облике людей, в содержании людских отношений появились те новые качества, которые рождает только социализм. А люди и их отношения являются главным объектом литературы. Правдиво изобразить новый мир и новых людей можно только в том случае, если смотреть на мир и на людей глазами подлинного революционного социалиста... Это и значит быть социалистическим реалистом в искусстве» [4, т. 5, с. 250].

А. Фадеев подчеркивал, что социалистический реализм предполагает самые разнообразные формы и индивидуальные манеры, лишь бы это не противоречило изображению правды жизни. Он советовал своим собратьям по перу глубже изучать и познавать жизнь, ее сложные процессы и воссоздать в книгах эту жизнь так, чтобы поднятые и художественно отраженные проблемы помогли двигаться вперед.

Встречаясь с чехословацкими писателями в Праге в конце 1951 г., он говорил: «Я могу вам, моим братьям по перу, сказать, что жить в сегодняшней Чехословакии, которая строит в таких колоссальных размерах, где человек так изменяется, где изменяются все человеческие взаимоотношения, и все это происходит в борьбе, что жить здесь сейчас по-старому — между клубом писателей и редакцией — вредно для настоящего таланта. Надо и вам идти прямо в жизнь. Это обогатит вас, расширит кругозор и, конечно, даст новые темы, научит по-новому смотреть на человека и людей. Здесь вы сможете найти новое творческое вдохновение. Задачи советской литературы и задачи литературы чешской и словацкой в этом отношении совершенно одинаковы» [4, т. 6, с. 173—174].

А. Фадеев советовал воспеть современного рабочего человека, который стал хозяином страны, тем более, что в чехословацкой литературе имелись прекрасные традиции, которые связаны с произведениями И. Ольбрахта «Анна-пролетарка», М. Майеровой «Сирена», Т. Сватоплука «Ботострой», М. Пуймановой «Люди на распутье», Й. Марека «Деревня под землей», П. Илемницкого «Русок сахара». Именно в этих романах и повестях писатели сумели раскрыть трудовую жизнь рабочего класса. А. Фадеев отмечал, что если раньше писатель сочувствовал рабочему, помогал ему в борьбе, то сегодня художнику необходимо знать новую жизнь, те трудности, в которых проходит процесс ее становления.

В размышлениях А. Фадеева о мастерстве, о воспитании молодых писателей, об учебе у классиков и о других проблемах, которые поднимались во время встреч, чувствовалась его большая заинтересованность в построении социалистической культуры. Л. Стоянов писал: «А. Фадеев питал к нам, к Болгарии и болгарскому народу, самые горячие братские чувства» [2]. Встречаясь с болгарскими писателями, он интересовался жизнью в Болгарии, болгарской литературой.

На развитие славянских литератур оказывало воздействие также творчество самого А. Фадеева, особенно его романы «Разгром» и «Молодая гвардия», которые были переведены и неоднократно издавались во многих странах. Но это особая страница в истории литературных связей.

Подводя кратко итог сказанному, можно с уверенностью утверждать, что знание А. Фадеевым истории славянских литератур помогало ему глубже решать проблемы, стоявшие как перед советской литературой, так и перед литературой этих стран, постигать пути формирования и развития социалистического реализма. На конкретном фактическом

материале он сумел показать, что передовая литература всегда была связана с народом, его освободительной борьбой и только честные и преданные народу писатели, несмотря на огромные трудности, которые выпадали на долю их стран, смогли по-настоящему отразить его борьбу за свободу.

А. Фадеев был истинным другом славянских литератур. Этим и объясняется огромная любовь славянских народов к нему и его творчеству.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Zahrádka M., Kučera C.* Alexander Fadějev a Československo.— Ostrava, 1976, 104 s.
2. Певец подвига.— Иностранная литература, 1976, № 12, с. 250.
3. Очерки истории чешской литературы XIX—XX вв. М., 1963, с. 20.
4. *Фадеев А.* Собрание сочинений. М., 1969—1971.
5. *Кубка Ф.* Воспоминания о друге.— Иностранная литература, 1961, № 12, с. 204.
6. История словацкой литературы. М., 1970, с. 79.
7. Литературная газета, 1940, 1 декабря.
8. ЦГАЛИ, ф. 631, оп. 15.
9. *Калениченко П. М., Ярош Л. В.* Общественно-политическая деятельность В. Василевской в годы второй мировой войны.— Советское славяноведение, 1980, № 2, с. 52—62.
10. *Фадеев А.* Материалы и исследования. М., 1977.
11. ЦГАЛИ, ф. 1628, оп. 1, ед. хр. 242.
12. *Рыбак Н.* Она видела облик дня.— Огонек, 1975, № 5, с. 18.
13. Приветствие советских писателей Людмилу Стоянову.— Литературная газета, 1948, 20 октября.



ЗАМЕТКИ О НЕКОТОРЫХ ПОНЯТИЯХ СРАВНИТЕЛЬНОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

В 1968 г. на страницах нашего журнала уже поднимался вопрос о содержании понятия «сравнительное литературоведение» [1]. С тех пор появилось множество работ данного профиля, в том числе теоретических. Из последних к наиболее примечательным относятся исследования словацкого ученого Д. Дюришина [2; 3]; монография румынского исследователя А. Димы «Принципы сравнительного литературоведения» [4]; книга болгарского литературоведа Э. Георгиева [5]; учебное пособие для студентов чешского филолога Й. Грабака [6]; труд И. Г. Неупокоевой [7] и, наконец, сборник «Методологические проблемы истории славистики» [8], где сравнительному изучению славянских литератур посвящена специальная статья чешского слависта Славомира Вольмана. Их оценку читатель найдет в обзоре К. И. Ровды [9]. Указав на большое значение этих книг для развития сравнительного литературоведения (его синонимом за рубежом служит термин «литературная компаративистика», который и у нас становится все более употребительным), Ровда, между прочим, отметил, что при общности исходных позиций марксистские ученые так и не пришли еще к единому взгляду по ряду важных вопросов. И это естественно. Единство в науке, даже в стане единомышленников ограничивается в сущности лишь исходными посылками да общей целью. Когда же вопрос в результате разрешения спора проясняется, когда по нему устанавливается некоторое общее мнение, оно тотчас же становится отправной точкой для дальнейшего движения мысли, а, следовательно, и для новых расхождений в поисках еще не установленных истин. И так до бесконечности, пока длится процесс познания. Предмет же сравнительного литературоведения настолько сложен, а его очертания до того еще неясны, что ожидать в ближайшее время воцарения единства взглядов было бы наивно. Только живая дискуссия, обмен критическими суждениями может обеспечить тут прогресс мысли.

В настоящей статье мы коснемся лишь тех спорных вопросов, которым придают особое значение.

«К числу нерешенных, и притом основополагающих, — констатирует Дюришин, — относится проблема предмета и цели компаративистики. С нею непосредственно связана и проблема отношения сравнительного исследования к другим разделам литературоведения. По-прежнему актуальна интерпретация понятия „мировая литература“, что внутренне обуславливает развитие и направленность приемов в конкретном исследовании. Не менее важны вопросы разграничения связей и схождений, их литературной обусловленности в межлитературном процессе» [3, с. 31].

Что касается предмета сравнительного литературоведения и его отношения к литературоведению вообще, то обстоятельнее других (из выше названных ученых) эти вопросы рассматривают Д. Дюришин и А. Дима.

Согласно Дюришину, у литературной компаративистики нет особого предмета познания. Эту мысль он настойчиво проводит в своей книге «О литературных отношениях», где критикуются П. ван Тигем, М. Ф. Гюйяр, Ж. М. Карре, Н. И. Конрад, И. Г. Неупокоева, Б. Г. Реизов и др. [2, с. 20—23]. Их попытки найти особый предмет для сравнительного изучения словацкий ученый объясняет исторически сложившимся раздвоением литературоведения на область, изучающую историю национальных литератур, и область, изучающую межлитературные отношения. В результате этого раздвоения укоренилась привычка изолировать национальный процесс от международного и смотреть на литературное общение с национально замкнутой точки зрения, при которой даже глубокие связи между произведениями кажутся лежащими вне основной сферы исследования, и отсюда — многочисленные попытки найти на периферии науки о литературе какой-то особый объект сравнительного изучения. Все послышки для такого вывода содержатся, впрочем, уже в «Теории сравнительного изучения литературы» (вышедшей в Словакии годом раньше). В ней доказывается, что, если расширить традиционное толкование предмета литературной компаративистики за счет включения в него внутрилитературных отношений, которые также подлежат сопоставлению, то сравнительное изучение охватит всю область литературных исследований, начиная с отдельных произведений и кончая их совокупностью в лоне мировой литературы, т. е. сферы сравнительного изучения литератур и их истории совместятся. Предмет сравнительного изучения литератур определится таким образом не как особый, а как общий с их историей, отличающийся только иным аспектом его рассмотрения. «Итак, литературный процесс, который осуществляется через совокупность взаимообусловленных национально-литературных и межлитературных связей и схождения и в котором находит выражение поступательное движение мировой литературы, и является в собственном смысле слова предметом сравнительного изучения» [3, с. 66—67]. Ставя вопрос, вправе ли мы считать сравнительное литературоведение особой дисциплиной среди иных дисциплин науки о литературе (теории литературы, истории литературы, литературной критики и т. д.), Дюришин склоняется к той точке зрения, которую до него отстаивали В. М. Жирмунский и Ф. Вольман. Они отказывались признавать сравнительное литературоведение как особой наукой, так и особой методологией, сводя все дело к методике. «Оценивая приведенные и другие точки зрения, — говорит он, — мы со своей стороны приходим к заключению, что литературная компаративистика входит в историю литературы, являясь, собственно, ее органической составной частью. Поэтому нельзя в связи со сравнительным изучением говорить об особой научной отрасли литературоведения, но лишь о практических исследовательских принципах, входящих в общий арсенал литературоведческой методологии» [3, с. 73]. Почему прием сравнения признается собственно историческим, этого ни Жирмунский, ни Вольман, ни Дюришин не объясняют. Поэтому Ровда не без основания заметил, что вопрос, «не являются ли все-таки принципы сравнительного изучения литератур органической частью теории литературы», у Дюришина так и остался без ответа [9, с. 191].

В противоположность Дюришину А. Дима считает компаративистику «историко-литературной дисциплиной», которая, входя в состав науки о литературе, соприкасается здесь «с историей литературы, критикой и теорией литературы, а также — прямо или косвенно... — со всемирной литературой» [4, с. 25]. Определяя особые предметы каждой из указанных дисциплин, Дима пытается таким путем раскрыть их отношения между собою в общей структуре науки о литературе: «Более тесны и органичны, естественно, связи сравнительного литературоведения с историей литературы» [4, с. 31]. В чем сказывается эта «более тесная» связь и почему это «естественно», румынский ученый, однако, не объясняет, как и того, почему он поделил «историю литературы» на две: отдельную и всемирную. Ибо под «всемирной литературой», как выясняется в дальнейшем, подразумевается тоже история (да и бессмысленно было бы включать в состав

науки о литературе самое словесное искусство). Таким образом, как особая «историко-литературная дисциплина» сравнительное литературоведение помещается у Димы между двумя «историями литературы». Если это не история какой-нибудь зональной или региональной литературы (например, балканской или общеевропейской), то что это такое?! Несмотря на все старания Димы разграничить, с одной стороны, понятия «история литературы» и «сравнительное литературоведение», а с другой — «всемирная литература» и «сравнительное литературоведение», ответа на этот вопрос мы тоже не получаем, и, стало быть, нам остается основываться только на утверждении: «Что же касается *сравнительного литературоведения* как области науки о литературе, то предметом ее последовательных и систематических исследований является частный аспект литературных явлений, а именно не их изучение по отдельности или в неких группах в пределах соответствующего исторического периода, а сопоставление этих явлений — как мы уже указывали выше — с аналогичными в другой национальной сфере» [4, с. 29].

Но сопоставление явлений есть прием или способ их изучения, а вовсе не предмет особой дисциплины. В этом пункте Дюришин ближе к истине.

Разойдясь в определении предмета сравнительного изучения литературы, словацкий и румынский ученые сошлись, однако, в указании его целей. Оба они считают, что, кроме контактных связей и типологических сходжений, подводящих к раскрытию закономерностей формирования мировой литературы, в задачу сравнительного литературоведения входит также познание специфических черт каждой из литератур. Но правомерно ли считать особой целью сравнительного изучения литератур познание их различий, это еще не ясно. Аргументация Димы, полемизирующего с П. ван Тигемом по этому вопросу [4, с. 93, 177—178], как и исторические ссылки Дюришина не очень убедительны.

Прежде всего заметим, что, определяя цели науки, ученые только конкретизируют свое понимание ее предмета. Ибо у науки нет иных целей, как познание своего предмета. Но познание не дается сразу — оно растягивается во времени, дробится на части, переходит с одной стороны объекта на другую и т. д. По мере накопления знаний о предмете и изменении этого предмета (например, эволюции литературы) перед наукой на каждом следующем этапе ее развития объективно возникают все новые задачи, которые субъективно определяются как ее особые цели. В этом плане субъективного определения задач неизбежны, однако, смещения, при которых достигнутые результаты, обуславливающие постановку новой задачи, как бы сами становятся целью дальнейших исследований. Так, например, задача выявить типологическое сходство реалистических литератур Румынии и Словакии заведомо предполагает известную их изученность самих по себе, в качестве различных литератур. Собственно сознание этих различий и приводит к мысли поискать за ними скрытое сходство (выявлять сходство сходного не имеет смысла). Сопоставление литератур, предпринятое с целью обнаружить их сходство, одновременно углубляет и наше познание специфических черт каждой из них. Этот дополнительный результат сравнительного изучения литератур для изучающих их порознь может стать и становится новой ступенью и вместе с тем особой целью дальнейшего исследования, начатого еще до сопоставления их особенностей. Если не замечать этого перехода от сравнительного изучения к раздельному, то особые цели того и другого будут уже не перекрещиваться, а сливаться, и мы легко можем принять за одну из основных задач сравнительного литературоведения то, что на самом деле является для него производным. То, что у нас нет основания относить к особым задачам сравнительного литературоведения изучение специфики сопоставляемых литератур, доказывает как будто сам же Дима своей полемикой с Р. Уэллеком.

В отличие от тех, кто не мыслит себе литературную компаративистику без сопоставления хотя бы двух разных литератур, Уэллек указывает на возможность соотносить и явления одной и той же литературы. «В принципе, — возражает Дима, — такое сопоставление возможно, но практика

показала, что непременным условием сравнительного анализа в данной науке является рассмотрение взаимоотношений различных литератур, и мы обязаны следовать этой традиции» [4, с. 94]. Это совершенно справедливо. Сопоставительный анализ, предположим, последовательных этапов развития какой-нибудь литературы вполне возможен и на базе ее собственной истории, в рамках которой раскрываются и ее особые, специфические черты. Однако это не приводит еще к возникновению сравнительного литературоведения. Вообще, пока народ замыкается в своей истории, он не испытывает потребности в раскрытии своего отличия от других. Такая потребность возникает у него лишь в процессе общения с другими народами, т. е. вследствие вхождения его литературы в более широкие литературные образования. И здесь-то появляется та неясность, о которой говорилось выше. А именно: если потребность в полном раскрытии своих отличительных особенностей возникает у отдельных литератур только в процессе их общения, то не дает ли это основания включить в особые задачи компаративистики наряду с изучением связей и схождений также и раскрытие своеобразия сопоставляемых литератур? Или же мы имеем дело с обычным случаем взаимопропиркивания двух сфер, между которыми нельзя провести жесткой границы? Мы знаем, что жесткой границы нельзя установить не только между сравнительным и раздельным изучением литератур, но и между их историей и теорией, между историческим и логическим методами. Однако мы не смешиваем их особые цели. Как бы то ни было, несомненным представляется факт, что сравнительное литературоведение углубляет познание сопоставляемых литератур в силу необходимости раскрытия межлитературных, а не внутрилитературных отношений, как полагает Дюришин.

Когда Дюришин указывает на «факт прямой зависимости литературной компаративистики от состояния, целей и задач национально-литературной истории своего времени» [3, с. 74], он, несомненно, прав (к сравнению литератур обращаются тогда, когда они переступают свои местные или национальные границы, вынуждая следовать за собою в чужие владения тех, кто изучает их историю). Но в дальнейшем Дюришин упускает из виду это, им же самим указанное, различие времен («свое время»). В результате частное, характерное для настоящего момента, принимается за всеобщее, что вступает в противоречие с историей. «Мы видим, — продолжает Дюришин, говоря о возникновении компаративистики, — ее истоки в исходном представлении о национально-литературной истории как самостоятельном, относительно изолированном и органичном целом» [3, с. 74—75]. На самом же деле ни В. Шерер, ни Х. Познетт, ни А. Н. Веселовский — никто вообще из родоначальников сравнительного литературоведения в Европе не исходил из такого представления. Оно не было характерно также для последователей мифологической экзегезы и теории заимствования — этих двух концепций, синтезированных сравнительным литературоведением. В России такое представление упорнее и дольше других отстаивали славянофилы, но они скорее препятствовали, чем способствовали сравнительному изучению литератур. В межвоенный период «представление о национально-литературной истории как самостоятельном, относительно изолированном и органичном целом» в Советском Союзе, да и в других странах социалистического лагеря достигло своего апогея на рубеже 40—50-х годов, и именно эти годы, как известно, были самыми неблагоприятными для компаративистики.

Нельзя не согласиться с А. С. Бушминым, что неизученность истории науки о литературе тормозит разработку литературоведческой методологии [10]. Это сказывается и на сравнительном литературоведении.

Обычно, имея в виду одну лишь теорию заимствования, историю сравнительного литературоведения начинают с «Трактата о происхождении романов» (1670) француза Д. Юэ и «Истории литературы» (1814) англичанина Д. Данлопа. При более широком взгляде список «зачинателей» сравнительного литературоведения разрастается. Так, Дима называет среди них ряд ученых XVIII — начала XIX в. и в их числе итальянцев Л. А. Муратори, Ф. С. Квадрио, Д.-К. Денину, Н. У. Фосколо, немец-

кого философа Ф. Боутервека и др. Все они, как, впрочем, и многие другие, действительно прибегали к сравнению литератур. Но сравнение литератур и сравнительное литературоведение не одно и то же.

Сравнение как таковое восходит еще к тем незапамятным временам, когда человек начал выделять себя из природы. Прием сравнения нетрудно обнаружить уже у античных авторов. Иное дело сравнительный метод. Он возник на основе исторического принципа, а значит — не ранее, чем сложился исторический взгляд на мир вообще и исторический подход к изучению литературных явлений в частности. Между тем историзм — это в основном завоевание эпохи романтизма. До этого, как известно, принцип историзма прокладывал себе путь главным образом в философских системах Дж. Вико, Ф. М. Вольтера, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо, К. А. Сен-Симона, И. Г. Гердера, И. Г. Фихте, Г. В. Ф. Гегеля и других мыслителей конца XVIII — начала XIX в. Огромную роль в утверждении принципа историзма имели специальные, научно-конкретные исследования как в естествознании (И. Кант, Ж. Кювье, Ч. Дарвин), так и в области гуманитарных наук (труды французского социолога А. Барнава, немецкого историка Б. Б. Нибура, французских историков периода Реставрации, немецкого языковеда Ф. Боппа и др.). По определению А. Веселовского, крупнейшего из основоположников сравнительного литературоведения, сравнительный метод есть не что иное, как «тот же исторический метод, только учащенный, повторенный в параллельных рядах, в видах достижения возможно полного обобщения» [11]. Для того, чтобы могла явиться идея сопоставления ряда литературных историй, историческое направление исследований должно было уже основательно укрепить свои позиции в науке о литературе и накопить достаточное количество фактов параллельного развития литератур. В России обоснование необходимости исторического освещения искусства принадлежит прежде всего С. П. Шевыреву, автору «Теории поэзии в историческом развитии у древних и новых народов» (1836), начинания которого получили одобрение Пушкина. Раньше утвердилось историческое направление в западноевропейском литературоведении (в Италии — Дж. Тирабоски, в Англии — Т. Уортен, во Франции — Ж. Ж. Ампер и т. д.). Однако лучшая попытка в этом роде появилась почти одновременно с названной докторской диссертацией Шевырева — это «История поэтической национальной литературы немцев» (1835—1842) Г. Г. Гервинуса. Таким образом, исторический принцип основательно закрепился в европейской науке о литературе лишь во второй половине XIX в., когда появилась культурно-историческая школа. Из ее-то недр и вышли в Германии В. Шерер, в Англии — Х. Познетт, в России — А. Н. Веселовский и т. д. Их деятельность была связана с изучением так называемой всеобщей литературы, и именно они положили начало новому направлению литературоведческой мысли, которое существенно отличалось от культурно-исторического только большим вниманием к художественной специфике литературы, к вопросам эволюции ее особых форм, или, иначе выражаясь, переходом от общекультурного изучения, при котором литература освещалась почти исключительно со стороны ее содержания, к специальному ее рассмотрению, при котором особое внимание стало уделяться форме и законам ее эволюции.

Итак, сравнительное литературоведение возникло не как особая отрасль в системе иных дисциплин литературной науки (истории литературы, ее теории и т. д.) и потому выявлять его место в их ряду не имеет смысла. Сравнительно-историческое литературоведение пришло на смену культурно-исторической школе, которой, в свою очередь, — в силу внутренней логики научных исследований — предшествовали филологическое, эстетическое и историческое направления. Сравнительно-историческое направление поэтому и должно рассматриваться в этом ряду как особое направление, выработавшее свой метод, не сводимый к методическому приему сравнения, как полагали Жирмунский и Ф. Вольман.

Когда Жирмунский доказывал, что «сравнение относится к области м е т о д и к и, а н е м е т о д о л о г и и» [12], в советской науке почти еще безраздельно господствовал тот взгляд, по которому методология

частных наук представлялась чуть ли не готовой совокупностью тех или иных общеметодологических философских посылок. Необходимость для специалистов разных областей разрабатывать свои особые исследовательские методы недооценивалась. Вскоре, однако, с догматическим пониманием методологических проблем было покончено, чему в литературоведении немало способствовали труды А. С. Бушмина и в особенности его «Методологические вопросы литературоведческих исследований» (1969). Было обращено внимание на диалектику общего, особенного и отдельного, в силу которой одни и те же приемы (анализ, синтез, индукция, дедукция и т. д.) в разной связи определяются то как методологические, то как методические. Как пытался доказать пишущий эти строки [13], действие этой диалектики распространяется также и на сравнение, которое в одних случаях может выполнять функцию методического приема, в других — становится относительно самостоятельным исследовательским методом. Во всяком случае считать «повторение» исторического метода в параллельных рядах сопоставительного анализа обычным историческим методом вряд ли правомерно и уже совсем нелепо принимать эту, в сущности целую систему приемов за единственный методический прием сравнения. Если эти суждения верны, то из них можно сделать следующий вывод об отношении сравнительного литературоведения к науке о литературе. Как особое направление сравнительно-историческое литературоведение уже давно сыграло свою роль, уступив в истории развития литературоведческой мысли место новому, более передовому, марксистскому направлению. В недрах последнего оно, однако, не исчезло бесследно, как не исчезли в нем и другие, некогда тоже самостоятельные направления (филологическое, эстетическое, историческое, культурно-историческое). Они интегрировались в марксистской науке о литературе на правах особых аспектов, или течений, имеющих свои относительно самостоятельные методы, опирающиеся на общую основу диалектического материализма и противостоящие иным методам филологического, эстетического, сравнительного и иного изучения литературы. Какой из этих аспектов марксистского метода получает преобладающее значение — философско-эстетический, филологический, конкретно-исторический или сравнительно-исторический, — зависит, разумеется, от задач, какие в данный момент возникают перед наукой. Так, выдвижение компаративистики на передовые позиции в наше время объясняется, несомненно, бурным процессом формирования общечеловеческой культуры. И не случайно поэтому многие споры, которые ведутся по проблемам сравнительного литературоведения, сопряжены с тем или иным толкованием понятия «мировая литература».

Что такое мировая литература, каков или каковы ее существенные признаки, когда она возникла и на какой стадии развития находится сейчас — на все эти вопросы может ответить по существу только история предмета. Однако его контуры предварительно должна наметить теория: прежде чем что-то искать, надо хотя бы приблизительно знать, что ищешь.

В определении понятия «мировая литература» ныне сталкиваются два взгляда: широкий и узкий. Странниками наиболее широкого толкования являются И. Неупокоева, Э. Георгиев и многие другие. А. Дима представляет ту, не столь многочисленную среди ученых социалистического лагеря группу, которая склоняется к точке зрения французского литературоведа Р. Этьембля, ограничивающего «мировую литературу» совокупностью произведений, известных за пределами создавшего их народа (суммой шедевров, как говорят его оппоненты, хотя это не точно). Некоторые литературоведы избегают определений понятия «мировая литература». Так, Дюришин ограничивается лишь описанием процесса формирования всеобщей литературы, не считая целесообразным давать ее дефиницию. Осторожен и Грабек, который, критически изложив американскую концепцию, отметил только ее отличие от точки зрения П. ван Тигема и др. И такая осторожность небезосновательна. Дело в том, что широкое и узкое понимание «мировой литературы» не исключают друг друга, как кажется с первого взгляда.

Говоря о литературе всех народов, очевидно, целесообразно различать понятия мировой литературы и всеобщей мировой (всемирной) литературы. Мировая литература, несомненно, включает в себя литературы всех народов, и только при таком всеобъемлющем, полном количественном охвате она и может считаться собственно мировой — совершенно так же, как и всякая национальная литература является таковой лишь потому, что она включает в себя все произведения, созданные на языке данного народа безотносительно к их качеству. Но это чисто количественное определение литературы является по существу статистическим, не схватывающим момента развития. Как только мы попытаемся определить те же понятия национальной и мировой литературы с точки зрения ее развития, так тотчас же значительное количество национальных произведений (а во втором случае — даже целых литератур) отпадает. Мы будем иметь дело преимущественно с художественно наиболее совершенными произведениями (или соответственно: развитыми литературами), причем определенным образом соотношенными друг с другом — в их преемственности. При этом степень художественного совершенства, хотя и играет, как правило, решающую роль, сама по себе еще не гарантирует причастности к процессам развития даже общенациональной литературы, не говоря уже о всемирной. Давно уже обращалось внимание на то, что такие писатели, как автор «Трех мушкетеров» или А. Конан-Дойль по степени дарования и глубине творческих открытий, несомненно, уступая некоторым национальным корифеям, тем не менее превосходят их международно известностью, а, следовательно, и причастностью к развитию всемирной литературы. Впоследствии роли могут поменяться, однако правило, согласно которому, только утвердившись в чужом сознании, можно воздействовать на него — останется в силе. Обязательным признаком общности литературы — будь то национальной или мировой — является такая зависимость ее произведений друг от друга, которую принято называть в узком значении этого термина литературной или контактной связью. Несколько типологически близких литератур, ни генетически, ни контактно не связанных между собою, составят ряд похожих, параллельных историй, но еще не одну общую. Такие раздельные, никак не связанные между собою литературные истории, разумеется, тоже входят в понятие «мировая литература», но только не в понятие «всеобщая мировая литература». В русло общей истории отдельные литературы входят лишь постольку, поскольку они опираются на одни и те же культурные источники и вступают между собой в такие отношения, при которых достижения одной или нескольких литератур становятся достоянием всех и, следовательно, общим условием развития каждой. Разумеется, общение литератур — лишь одно из условий их совместного развития, но еще не их история. Иначе это положение можно выразить так: хотя возникновение всемирной литературы, как и национальной, обусловлено общественно-историческим развитием, но результаты этой обусловленности мы распознаем по ее следствию, каковым является литературное общение народов, которое потом само становится одной из причин поэтической эволюции и на известной ступени приводит к переходу количества в качество — к превращению накопленной массы отдельных случайных связей между различными литературами в постоянное, необходимое условие их дальнейшего прогресса и творческого состязания в целях лучшего удовлетворения эстетических потребностей человечества. Чем большая масса литературных произведений вовлекается в международный обмен, тем строже становится их селекция в читательском сознании, так что с течением времени чужое становится своим, а иногда и более близким, чем свое, полностью вытесняя некоторые весьма значительные национальные достижения. Так, Шекспир для современного сознания русских и болгар значит неизмеримо больше, чем соответственно Феофан Прокопович и Паисий Хилендарский, хотя в истории своих отечественных литератур последние сыграли в свое время огромную роль, ничуть не меньшую, чем автор «Гамлета» в Англии. Указанная переоценка ценностей и есть верный признак формирования всеобщей мировой литературы.

Таким образом, хотя мировая литература начинается с истории отдельных литератур, т. е. с момента возникновения письменности, а контакты устной поэзии разных народов восходят к еще более древним временам, всеобщая мировая литература возникает значительно позже и, разумеется, не раньше образования национальных литератур. По наблюдению К. Маркса и Ф. Энгельса, она возникает в период промышленного переворота, вызвавшего развитие всемирного рынка, когда «национальная односторонность и ограниченность становятся все более и более невозможными, и из множества национальных и местных литератур образуется одна всемирная литература» [14]. Но этот давно начавшийся процесс, значительно продвинувшийся вперед в наше время, все же еще далек от своего завершения (отчего и очертания предмета сравнительного литературоведения, как говорилось, неясны). Даже в региональных рамках Европы социально-исторические и национальные различия в жизни народов слишком значительны, чтобы можно было говорить о такой же степени целостности европейской литературы, какая подразумевается, когда говорят, например, о многонациональной советской литературе. С еще большим основанием можно сказать это о народах всего мира, из которых одни насчитывают уже тысячи лет своего литературного развития, тогда как другие находятся лишь в его начале. В этой связи и возникает вопрос об основном, определяющем признаке всеобщей литературы. Таким признаком, как мы уже сказали, являются не типологические схождения литератур, а их контактные связи между собой, или обмен собственно литературными произведениями, творческим опытом и т. д. Поэтому при изучении процессов формирования всеобщих литератур — зональных (например, всеславянской), региональных (предположим, всеевропейской) и всемирной — особую актуальность приобретает задача четкого определения основных понятий и терминов, которыми приходится оперировать исследователю, и прежде всего таких терминов, как «литературная связь», «литературное влияние», «контакт» и «типологическое схождение». Термины эти не новы, однако крушение некоторых старых компаративистских представлений и спекулятивные построения некоторых новейших приверженцев европоцентризма дискредитировали их, внося разнотолкований даже в стан единомышленников из стран социалистического содружества.

Начнем с понятия «литературная связь», под которым чаще всего подразумевают заимствования, подражания, пародии, переводы, чтение чужих произведений, встречи писателей, критические отклики и т. д., т. е. проявление контактных отношений — прямых и опосредованных независимым обращением к какому-либо общему литературному источнику (генетическое родство). Такое обозначение контактных отношений вполне оправданно, ибо указание на их отличие от типологических схождений здесь схвачено. Но этого недостаточно. Необходимо различать понятие контактов с понятием «литературная связь», которое включает в себя, кроме контактно-генетических отношений, также и типологические схождения, причем нередко в совмещении тех и других. Последнее имеет место в тех случаях, когда мы, отмечая известное сходство произведений или путей литературного развития, не можем, однако, достоверно сказать, является ли оно следствием аналогичного решения одинаковых творческих задач или обусловлено еще какими-то контактами.

Впрочем, типологические схождения можно еще представить себе, так сказать, в их чистом виде. Контакты же вообще немислимы вне той или иной типологической общности, идет ли речь о явном подражании или о противопоставлении идейно-творческих позиций. А. С. Бушмин выявил такую закономерность установления литературных контактов: общность является лишь предпосылкой для взаимного понимания, «различия — источником обогащения» [15]. Другими словами, из чужого опыта переимается преимущественно отсутствующее в родной литературе, но уже вызревающее на почве сближения путей общественно-исторического развития, которое порождает и типологические схождения. Но теоретически и, по возможности, практически отличать «следы» контактных отношений от типологических схождений, хотя бы в самом общем виде, для науки

чрезвычайно важно. Необходимость такого разграничения коренится в самой сущности всеобщей литературы, основным условием возникновения и развития которой, как уже говорилось, служит обмен литературными достижениями. Только на путях выявления контактных отношений можно раскрыть процесс образования зональных, региональных, а также всемирной литературы.

Здесь, однако, уместен вопрос: правомерно ли в таком случае включать в понятие «литературная связь» типологические схождения, если они предполагают отсутствие контакта между литературами? Ответ на этот вопрос зависит от того, признается ли художественная литература имманентным явлением или своеобразной формой отражения действительности [16]. Если художественная литература признается своеобразным отражением реального бытия, тогда основным станет исходящее из действительности объяснение того особого способа отражения, каким художественная словесность отличается от нехудожественной. И то общее, что составляет художественность различных произведений (или литератур), в том числе контактно-генетически не связанных между собою, и есть их самая глубокая, внутренняя и необходимая связь — связь через порождающую их действительность. С этой точки зрения типологические схождения и творческие «следы» контактов суть явления одной и той же природы, те же отражения реальности, различающиеся лишь тем, что одни возникают независимо друг от друга, другие — при посредстве заимствуемого опыта, своего ли, национального, или иноземного. Это посредничество осуществляется путем ознакомления писателей с произведениями других авторов, их живого общения между собою, воздействия на них критики и т. д. Поэтому контактные отношения — в отличие от типологических схождений, которые бывают только внутренними, — могут быть как внутренними (перешедшими в акт творчества), так и внешними (не оставившими «следа» в творчестве).

На необходимости разграничивать внутренние и внешние контакты из современных ученых более всех настаивает Дюришин (их терминологическое обозначение ввел Ф. Вольман), и настаивает совершенно справедливо. Если с ним и можно еще в чем-то не согласиться, так это, пожалуй, лишь в определении границ между внутренними и внешними контактами. По Дюришину, к внешним контактам литератур относятся не только встречи писателей, газетно-журнальные сообщения и т. п., но и в особенности переводы, «если они выполняют информационную функцию. Когда же роль перевода не сводится только к тому, чтобы познакомить читающую публику с произведением переводного автора, а состоит в том, чтобы органически включиться в творческие усилия воспринимающей литературы, то мы усматриваем в этом проявление внутреннего контакта» [3, с. 104].

Такая постановка вопроса представляется не бесспорной.

Когда Дюришин указывает на преломление инонациональных произведений, в том числе переводных, в творческой практике воспринимающей литературы как на необходимый признак внутреннего контакта, он, безусловно, прав. Но при этом он не учитывает, однако, различия между связью литератур вообще и связью отдельных писателей. Хотя связь литератур вообще реализуется через отдельных представителей, однако контакт одного или нескольких писателей с инонациональной литературой и контакт представляемой ими литературы вообще с той же инонациональной литературой существенно различаются. Когда речь идет об отношении отдельного писателя к переводам, уместен вопрос, какие из этих переводов были известны ему, стимулировали ли они его творческую деятельность (перешли во внутренний контакт) или нет. Таково же отношение этого писателя и к произведениям отечественной литературы, которые также делятся для него на известные и неизвестные, творчески стимулирующие и инертные. Иначе решается вопрос, когда мы рассматриваем связь литератур в целом. Сам перевод с одного языка на другой осуществляется не иначе, как в творческом процессе, и уже поэтому он есть очевидное выражение внутреннего контакта литератур, особенно древних и сред-

невековых. Вливаясь в поток воспринимающей литературы, переводы становятся ее составной частью, отделить которую от отечественной продукции в читательском восприятии писателей, а значит, разграничить информационную и творчески стимулирующую функции переводной литературы совершенно невозможно. Короче, всякий перевод является реальным выражением частичного внутреннего контакта литератур.

Что же касается внешних контактов, то их вернее было бы называть окололитературными связями; к ним мы вправе отнести все те обстоятельства, которые так или иначе содействуют общению литератур. Внешние контакты тем собственно и отличаются от внутренних, что они находятся вне самой художественной литературы (чего никак нельзя сказать о переводах) и только указывают на какие-то творческие отношения, сигнализируют их возможность. Если бы наука могла устанавливать факты творческих отношений между художниками без обращения к сопутствующим обстоятельствам этих связей, необходимость в познании внешних контактов вообще отпала бы, и мы исследовали бы только историю внутреннего, имманентного литературного развития. Однако, мы не можем постичь внутренний мир писателя иначе, как только через познание внешних обстоятельств его деятельности, и только досконально изучив предполагаемый круг его чтения, его личные отношения с другими литераторами, состояние книжного рынка, печатные отзывы, корреспонденцию и т. д., мы можем проникнуть в его творческую лабораторию. Это изучение внешних контактов вместе с тем является и единственным способом отличать творческие заимствования от типологических схождений. Без упорного систематического изучения внешних контактов проблему возникновения, формирования и развития всеобщей литературы — будь то всеславянской, общеевропейской или всемирной — решить невозможно.

При изучении контактных отношений неизбежно возникает и проблема литературного влияния. Как уже отмечалось, ошибки старой компаративистики с ее механистической теорией заимствования (у чехов получившей нарицательное название *vlivologii*, а у поляков — *wpływologii*) и современные европоцентрические спекуляции привели к тому, что сам термин «литературное влияние» оказался основательно дискредитированным. Ровда вынужден даже возобновить спор с Дюришиным, который предлагает избегать самих терминов «влияние», «воздействие», «заимствование» как пережитков буржуазной компаративистики [3, с. 191]. Нетрудно понять мотивы, побуждающие многих подозрительно относиться к этим словам. Тем не менее ломать устоявшуюся терминологию было бы неправильно — не только потому, что отказ от нее чреват ослаблением преемственной связи с достижениями прежней, домарксистской науки, оперировавшей указанными терминами, а и по существу самого понятия «связь».

С в я з ь вообще (в философском толковании этого понятия) означает не что иное, как такое специфицированное отношение, при котором наличие или изменение одних объектов является условием наличия или изменения других объектов. Стало быть, вне воздействия, вне влияния одних вещей на другие, в котором собственно и проявляются различные виды и степень их зависимостей друг от друга, ни о какой связи между ними, ни о какой их взаимообусловленности и единстве не может быть и речи. Это относится ко всем областям материального и духовного мира, не исключая, разумеется, литературы. Несостоятельность старой, позитивистской «теории заимствования» вовсе еще не отменяет ни самого процесса заимствования, ни фактов влияния, ни существования в его специфических, литературных границах различных конкретных зависимостей одних произведений от других, а значит, и литератур друг от друга. Порочность изжившей себя теории «влияний» не может служить оправданием для отказа от общепринятого, причем не в одном только литературоведении, понятия, каким является «влияние». Равным образом нельзя признать основательным и тот довод, что термин «литературное влияние» не отличается конкретностью и под ним можно подразумевать самые различные явления из области литературных связей. Но в этом как раз и заключается весь его

смысл и назначение: служить категорией, предельно широко охватывающей все отношения литературной зависимости. С предположения о возможности влияния, т. е. ближайшим образом еще не установленной зависимости между произведениями, писателями, литературами, начинается, в сущности, всякое компаративистское исследование, а заканчивается оно обычно констатацией отсутствия или наличия такого влияния, но уже конкретизированного в одной из форм зависимости. Именно в границах этого широкого и в то же время достаточно определенного понятия, издавна получившего название «литературное влияние», движется исследовательская мысль, и при правильном ее развитии у нас нет необходимости придумывать для него новое обозначение.

Впрочем, пока анализу подвергается творчество писателя или же отдельная литература в ее связях с другими, в центре внимания неизбежно оказывается индивидуальное и национальное своеобразие, вопросы претворения в особых условиях инонационального опыта — словом, проблема активной творческой избирательности, в постановке и освещении которой, кстати сказать, наибольшая заслуга принадлежит Дюришину. При таком масштабе рассмотрения литературных связей и соответствующем специальном подходе (со стороны воспринимающей литературы) категория «влияния» может еще казаться и казаться малопродуктивной и даже излишней. Дело, однако, кардинально меняется, как только мы переходим к освещению процессов становления всеобщей литературы, охватывающей целые регионы и длящихся сотни и тысячи лет. При таком глобальном подходе внимание концентрируется на очагах наиболее развитой культуры, откуда в разных направлениях идут потоки воздействия на менее развитые, отстающие или едва лишь зарождающиеся литературы, потоки передового творческого опыта, которые в самом точном и глубоком значении этого предельно широкого понятия обозначаются категорией «литературное влияние» (более конкретные обозначения ввиду слияния различных форм литературной зависимости здесь попросту оказываются сплошь и рядом неприложимыми).

История знает эпоху, когда потоки такого литературного влияния шли с Востока на Запад, и время, когда произошел поворот, когда центр наиболее интенсивной литературной жизни переместился в Европу, которая и поныне не утратила еще своего значения доминирующего очага, питающего своими творческими достижениями литературу возрождающейся Африки, Азии, Южной, да и не только Южной Америки, и тем содействующего их быстрому прогрессу и превращению из литератур восприимчивых в дающие, все более и более пополняющие своими оригинальными достижениями фонд всемирной литературы и влияющие на ее развитие. Неосведомленность или нежелание некоторых европоцентристов прозападной ориентации считаться с произошедшими сдвигами в большинстве новейших национальных литератур — еще не основание для того, чтобы приуменьшать или стыдливо обходить выдающуюся роль еврейской культуры в процессе формирования всемирной литературы — роль, которая как раз и выражается в ее сильном влиянии на литературную жизнь многих народов земного шара.

Та нивелирующая точка зрения, по которой все национальные литературы признаются равнозначными в том отношении, что они, отвечая особому уровню и самобытным условиям развития каждой из стран, одинаково хорошо удовлетворяют духовным потребностям своих народов, при изучении истории всемирной литературы не выдерживает критики. Всемирная литература — это не просто мировая литература. Из бесконечного национального многообразия она впитывает в себя только то, что способно удовлетворять развитым эстетическим запросам культурного человечества. Она поэтому иначе, чем мировая литература, относится и к факту неравномерности литературного развития, ощутимо дающему о себе знать до сих пор. В сущности, история не знает ни одного народа, какой бы высокоразвитой литературой он ни обладал в настоящее время, который не переживал бы в своем многовековом художественном развитии периоды литературного расцвета и застоя, времена интенсивного воздейст-

вия на окружающий литературный ареал и приходившие им на смену по- лосы зависимости от очагов более высокой поэтической культуры.

В этой связи следует обратить особое внимание на то, что величие литературы измеряется количеством производимых ею художественных ценностей, пополняющих сокровищницу общечеловеческой культуры, а не количеством населения данной страны. Термин «литература малых народов», который нередко можно встретить в современной компари- тивистской литературе, носит явно двусмысленный характер. На его нена- учность в свое время указывал еще К. Чапек. Не соглашаясь с теми, кто считал, будто бы чешской литературе не позволяют подняться до уровня мировых достижений небольшие масштабы Чехии, он остроумно заметил, что «масштабы Афин, где творил Софокл, не особенно превосходили мас- штабы, например, нынешней Пльзни» [17]. Пример античной Греции — ярчайший, но далеко не единственный пример великой литературы малого народа. Вообще мы не знаем, какая национальная литература — большо- го, среднего или малого народа — может внести наибольший вклад во всемирную литературу и потому все национальные литературы считаем равноправными перед лицом их всеобщей истории. Но это вовсе не озна- чает ни того, что любое национальное своеобразие одинаково ценно для человечества, ни того, что наличие национальных различий уже само по себе окупает художественное неравенство в глазах мировой культурной общественности. Если бы качественная сторона произведений была без- различна для читателей, не было бы всемирной литературы. С этой точки зрения нельзя согласиться с претензиями некоторых ученых на равно- правное, «демократическое» представительство всех национальных куль- тур в истории всемирной литературы, с попытками апеллировать к «со- циальной морали» и с ее помощью, так сказать, задним числом водворять справедливость там, где некогда царила одна вопиющая несправедливость. При освещении человеческой культуры во всемирном масштабе у нас нет оснований выстраивать в один ряд всех национальных корифеев и, ска- жем, извлекать из забвения деятеля, каким бы колоссальным ни было его значение в прошлой литературной истории своего народа, если его влия- ние не выходило за национальные рамки, если его наследие даже в гла- зах его соотечественников уже превратилось в архивное достояние, а их живая мысль питается поэтическими плодами Гомера, Данте, Серван- теса, Шекспира, Мольера, Гете, Мицкевича, Л. Толстого и других нацио- нальных гениев. Короче, историю нельзя поправлять и нельзя ставить истину в зависимость от каких бы то ни было привходящих соображений.

И об этом надо сказать в полный голос именно потому, что современ- ный интенсивный процесс формирования одной всемирной литературы, втягивая в свою орбиту многие народы, ранее стоявшие на его обочине или же вообще отстраненные от участия в общекультурном движении, способствует их быстрому прогрессу, существенно меняя их роль и место в литературной жизни нашей эпохи. Для того, чтобы по достоинству оце- нить это их новое положение, их истинную долю все возрастающего вкла- да в художественную культуру человечества, на мой взгляд, необходимо, в частности, обратить особое внимание на категорию «литературного влия- ния». Ее надо не обходить, не воздерживаться от ее приложения к анали- зу литературных связей, а, наоборот, всемерно разрабатывать, уточняя ее смысл с учетом современного опыта литературного развития.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кишкин Л. С. О современном содержании понятия «сравнительное литературове- дение». — Советское славяноведение, 1968, № 4, с. 31—39.
2. Ďurišin D. O literárnych vzťahoch. Sloh, druh, preklad. Bratislava, 1976.
3. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы. М., 1979.
4. Дима А. Принципы сравнительного литературоведения. М., 1977.
5. Георгиев Э. Литературознание с повечу измерения. София, 1974.
6. Hrabák J. Literární komparatistika. Praha, 1976.
7. Нейпюкеева И. Г. История всемирной литературы. Проблемы системного и срав- нительного анализа. М., 1976.
8. Методологические проблемы истории славистики. М., 1978.

9. *Ровда К. И.* Сравнительное изучение славянских литератур (Новые книги ученых социалистических стран). — Русская литература, 1980, № 4, с. 186—192.
10. *Бушмин А.* Наука о литературе (Проблемы. Суждения. Споры). М., 1980, с. 25.
11. *Веселовский А. Н.* Историческая поэтика. Л., 1940, с. 47.
12. *Жирмунский В. М.* Проблемы сравнительно-исторического изучения литератур. — В кн.: Взаимосвязи и взаимодействия национальных литератур. М., 1961, с. 53.
13. *Горский И. К.* Александр Веселовский и современность. М., 1975, с. 15—21.
14. *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 4, с. 428.
15. *Бушмин А. С.* Преемственность в развитии литературы. Л., 1975, с. 50.
16. *Gorski I. K.* Problemy badań nad rosyjsko-polskimi związkami literackimi (Propozycje do dyskusji). — In: Tradycja i współczesność. Warszawa, 1978, s. 323.
17. *Никольский С. В.* Две эпохи чешской литературы. М., 1981, с. 115.



ШИРОКОВА Л.

СЛОВАЦКАЯ ПРОЗА 70-х ГОДОВ В ОТРАЖЕНИИ КРИТИКИ

70-е годы представляют собой особый этап в развитии словацкой литературы. Будучи частью более крупного и продолжительного периода, этот этап имеет свои отличительные черты. Главные из них — преодоление кризисных явлений, проявившихся во второй половине 60-х годов, и восстановление преемственности развития социалистической литературы. Новые позитивные качества накапливались в словацкой прозе уже с начала 70-х годов. Первые ее успехи связаны, главным образом, с малыми жанрами — рассказом, повестью, авторами которых были, как правило, молодые, начинающие писатели, и жанром литературных мемуаров. Обращение прозы к реальным проблемам и явлениям, к осмыслению истоков социалистического сознания стало основой для ее дальнейшего развития; укрепление реализма прозы, усиление в ней эпического начала способствовало значительному обогащению прозы во второй половине 70-х годов. В это время появился ряд крупных произведений социально-исторической направленности, углубился психологизм прозы, ее жанрово-стилевая дифференциация.

Важная роль в осмыслении, оценке, а иной раз и корректировке этого процесса принадлежит словацкой критике. В начале 70-х годов основное ее внимание было сосредоточено на критике негативных концепций прошлого десятилетия, на анализе ошибок и просчетов, на утверждении марксистско-ленинских принципов в литературоведении и критике. Что же касается осмысления новых явлений, то в силу самой их новизны и неформальности критические выступления по их поводу редко носили обобщающий характер. Основная их форма в это время — рецензии на конкретные произведения, публиковавшиеся не только в литературных журналах («Словенске погляды», «Ромбойд»), но и в периодической печати (газеты «Правда», «Нове слово» и др.). Вместе с тем появлялись статьи и развернутые рецензии, авторы которых — ведущие критики и литературоведы — давали оценку общей ситуации в литературе и намечали пути ее дальнейшего развития. Позднее некоторые из этих выступлений вошли в книги литературоведческой серии «Горизонты» [1—4], где в совокупности с другими работами тех же авторов они представили картину развития литературы уже в историческом аспекте.

Одной из важных форм критического осмысления текущего литературного процесса стали обзоры развития прозы за год, которые печатаются в журнале «Словенске погляды», начиная с 1972 г. (потом к ним прибавились обзоры по поэзии, драматургии, литературе для детей и юношества, по национальным — венгерской и украинской — литературам в рамках литературы ЧССР, по литературоведению и критике). По этим статьям можно проследить движение прозы на протяжении прошлого десятилетия — от первых признаков ее оживления в начале до расцвета в конце 70-х годов.

Автор первых двух статей, В. Петрик, стоял перед трудной задачей: на основе небольшого числа произведений, часто дебютов начинающих прозаиков, определить зарождающиеся положительные тенденции, указать на слабости и недостатки прозы. В статье «Проза 1972» он определил начало 70-х годов как «период перелома и переоценки прошлых ценностей», выработки «нового отношения к действительности» [5]. Тезисом о необходимости более тесной связи литературы с действительностью начал Петрик и обзор прозы 1973 г. Давая краткую характеристику произведениям Я. Ленчо, П. Яроша, Я. Паппа, А. Худобы, дебютантов И. Габая, Й. Пушкаша, Д. Душека, В. Швенковой, а также писателей старшего поколения — Ш. Жары, Й. А. Талло, Я. Йонаша, он выделил ряд общих черт прозы начала десятилетия, показал ее противоречивую связь с прозой 60-х годов. Говоря о ее художественном несовершенстве, незначительной жанрово-стилевой дифференциации, отсутствии крупных эпических произведений и слабой концепционности, В. Петрик назвал и объективные причины этих недостатков, одна из которых — неблагоприятная «кадровая» ситуация, обусловленная сменой писательских поколений, отсутствием в прозе авторов старшего поколения, чье творчество было когда-то костяком литературного организма. В то же время им были верно подчеркнуты такие существенные тенденции в прозе, как «стремление к более непосредственной связи с действительностью, к реалистическому письму» [6], «социально-центростремительное движение», которое подлежит развитию. Способствовать этому может, по мнению критики, ориентация писателей, особенно молодых, на собственный опыт, жизненные впечатления, которая призвана помочь прозе вновь укорениться в конкретной исторической действительности. Дальнейшее развитие словацкой прозы и, прежде всего, новеллистики, подтвердило верность этих слов, дав образцы правдивого и психологически точного отражения мира нашего современника.

Под несколько иным углом зрения рассматривал итоги 1974 г. Я. Штевчек. Представляя панораму прозы, анализируя отдельные произведения, он размышлял о проблемах романа в словацкой литературе и, прежде всего, о проблеме сюжета, романного действия, которое было бы «способно удовлетворить читательскую потребность возвыситься над будничным или возвысить будничное до уровня поэтического» [7, с. 33]. Штевчек провел критический разбор шести новых романов, вышедших за год; он показал достоинства произведений Г. Зелиновой, Я. Паппа, В. Швенковой, П. Андрушки, М. Фигули и А. Беднара, рассматривая их в контексте творчества этих писателей. Однако важнее было для критика выявить их слабости, причину того, что они редко дают «то освобождение, катарсис, который мы ждем от истинного искусства слова» [7, с. 34]: это в одном случае отсутствие характеров, в другом — шаткость сентиментальной фабулы, в третьем — чрезмерная сгущенность романного времени и т. д. Остановился критик и на произведениях малых жанров, в которых, как он справедливо заметил, нашла отражение современная тематика, и на книгах репортажей, также обращая специальное внимание на их построение. При этом Я. Штевчек подчеркнул необходимость социального измерения для сюжета: «сюжет — это нечто большее, чем просто действие. Сюжет — это действие с богатством человеческих аспектов. Это поэзия прозы, но без социальности, без общих жизненных корней он был бы лишь пустой формой» [7, с. 42]. Таким образом, хотя словацкая проза к этому времени еще не достигла художественных вершин, тем не менее, сама возможность построения обзорной статьи на материале романа свидетельствовала о явном ее усилении, о тенденции к укрупнению эпической концепции.

В середине 70-х годов словацкая проза была уже на таком уровне развития, что можно было говорить о ней без скидок, предъявляя более высокие требования. Б. Тругларж в статьях о словацкой прозе за 1975 и 1976 гг. затронул проблему преемственности в развитии прозы, творческого продолжения линии [Ф. Гечко, В. Минача, Р. Яшика. Новый этап, по убеждению критика, связан с поиском прозы, которая отвечала бы общественной ситуации 70-х годов, с необходимостью отражения новых кон-

фликтов, новых проблем, которые принесла жизнь. Положительно оценивая романы «Одиннадцатая заповедь» Я. Йонаша, «Пепелища» Э. Дзвоника, «Мастера» В. Шикулы, «Влюбленный в жизнь» и «Полная чаша» А. Плавки, он выдвинул на первый план такие их стороны, как гражданская зрелость, отражение существенных черт развития общества, реализм и правдивость изображения. Называя эти произведения определяющими, вершинными в прозе 70-х годов, Тругларж все же видел более плодотворный путь ее развития в разработке современной тематики. «Социалистический реализм... в нашей сегодняшней ситуации — это прежде всего художественное открытие новых столкновений, новой, формирующейся действительности, отношения „человек — общество“. Никакой устоявшийся образ уже познанного, пережитого не может заменить участия в идейной борьбе, требующего от писателя полной творческой отдачи» [8].

И. Сулик, автор обзоров по прозе 1977, 1978 и 1979 гг., также отмечал повышение общего уровня прозы к концу десятилетия. Особенно урожайным на талантливые, выдающиеся произведения стал, по его мнению, 1977 г., когда вышли в свет романы «Герань» В. Шикулы, «Помощник» Л. Баллека, «Время мастеров» А. Гикиша, «Вдовьи дома» К. Лазаровой, «Глухая пещера» Э. Дзвоника, сборники рассказов Й. Пушкаша, А. Худобы, П. Андрушки и др. В то время, как рассказ, по верному наблюдению И. Сулика, продолжал занимать ведущее место в разработке современной тематики, роман обращался, как правило, к событиям более или менее отдаленного прошлого. «Кажется, — замечает критик, — что прозаик еще не считает сегодняшний день достаточно „романным“, он видит его в аналитических срезах и незавершенности» [9, с. 49—50]. Особую актуальность приобретает в связи с этим проблема историзма прозы, последовательной реализации этого принципа: «чем роман „историчнее“, чем яснее проводит автор мысль о необходимости диалектического взгляда на непрерывающиеся связи истории, чем отчетливее причинно-временные рамки наполняются конкретным содержанием, тем убедительнее и настойчивее звучит „внеисторическая“ идея писателя, тем достижимее ее обобщение» [9, с. 44]. Для конца 70-х годов характерна, на наш взгляд, не только жанровая, но и более четко определявшаяся стилевая дифференциация прозы; это подтверждает и тот факт, что среди лучших книг года Сулик назвал наряду с традиционно реалистическими и произведения с сильно выраженными элементами сатиры («Добродетельный Метод» М. Крно, «Припоминание» Я. Ленчо, «Коза» В. Беднара), гиперболы и гротеска («Баллада о сберегательной книжке» Я. Йоганидеса, отчасти «Тысячелетняя пчела» П. Яроша, «Милые разочарования» Й. Пушкаша), балладности, лиризма («Степные хутора» И. Габая, «Наконец будет мир» А. Худобы, «Скрипка с лебединой шеей» Ю. Балцо). При анализе произведений И. Сулик особые требования предъявлял к художественной их стороне. Если в сегодняшней словацкой прозе уже не встречаются случаи формального изыска, эстетической самоцельности, связанной с пренебрежением к социальной значимости и познавательной функции прозы, напротив, наблюдается дальнейшее укрепление идеологического аспекта в прозе с точки зрения исторической перспективы социализма, то повышение художественного, эстетического уровня произведений остается, по убеждению И. Сулика и других словацких критиков, задачей первостепенной важности.

Оценка состояния прозы в 70-е годы принимала в словацкой критике и форму дискуссий, в ходе которых выявлялись позиции критиков, уточнялось место того или иного произведения в современной литературе и нередко прогнозировались дальнейшие пути ее развития. Потребность дискуссии ощущалась критикой уже в середине 70-х годов, и первое же значительное произведение, появившееся к этому времени в прозе, — роман Яна Йонаша «Одиннадцатая заповедь» (1975) — вызвал целый ряд выстулений в печати сначала в форме рецензий, а несколько позже и дискуссию, организованную журналом «Словенске погляды» в 1976 г.

В дискуссии выступили ведущие критики и литературоведы, в частности К. Розенбаум, С. Шматлак, Д. Окали, И. Кусы, а также В. Минач, чья литературно-критическая и эссеистская деятельность вообще заметно

отразилась на словацкой литературе 70-х годов. Наряду с анализом самого романа здесь поднимались проблемы его литературного контекста, связи с прозой 50-х годов, художественной правдивости и реализма, а также вопрос о месте романа в словацкой прозе 70-х годов.

Большинство этих проблем было поставлено уже в первом дискуссионном выступлении И. Сулика, который в определенной мере задал тон всей дискуссии полемичностью высказанных суждений. Отмечая правдивость изображения в романе Йонаша словацкой деревни рубежа 40—50-х годов, стремление писателя к созданию ее целостного образа, далекую от схематизма и вульгарного социологизма обрисовку персонажей, Сулик в то же время определил ряд моментов, вызвавших у него возражения. К слабым сторонам романа он относит отсутствие центрального драматического конфликта, излишнюю детализацию некоторых второстепенных, на его взгляд, сюжетных линий, недостаточную логичность развития характера главного персонажа, Шимона, банально-сентиментальный тон описаний любовных отношений героев и др. Если последний упрек разделили многие выступившие в дискуссии, то остальные вызвали полемику. Особенно горячий спор вызвало утверждение Сулика о том, что «Одиннадцатая заповедь» — это лишь «умелая актуализация прежнего образа романа» (в качестве примера назывался роман Ф. Гечко «Деревянная деревня», 1950), «наполнение модели социального деревенского романа прошлых лет современным идейным содержанием» [10, № 6, s. 85]. Правда, оговаривается критик, Йонаш стремился создать «новый, творческий, даже несколько полемический» его аналог. Спор по этому вопросу проходил по двум направлениям: осмысление литературных «корней» романа Йонаша и утверждение необходимости историзма в восприятии литературного произведения. Так, С. Шматлак в своем выступлении призывал к распознаванию различия конкретно-исторических детерминант «Деревянной деревни» и «Одиннадцатой заповеди», причем с точки зрения не только литературного, но и, особенно, общественного развития. Лишь исторический подход к литературным явлениям позволяет, как подчеркивал Шматлак, выявить то новое в решении темы социальных преобразований в словацкой деревне, что отличает роман Йонаша — «новую идейно-эстетическую функцию», иные художественные задачи, обусловленные социально-историческими переменами. Шматлак указывал и на различие аспекта рассмотрения одной и той же темы в этих двух романах, отражающее углубление реализма в социалистической литературе: «эпический взгляд переосмысливается с крупномасштабных, но внешних событий макроистории в глубь конкретных человеческих судеб», что дает писателю возможность показать «рождение социализма в словацкой деревне изнутри, из здоровых фондов ее общества» [10, № 6, s. 97]. Молодой критик Ф. Матейов, дав оценку позициям Сулика и Шматлака, высказал свое мнение по поводу литературно-исторического контекста романа Йонаша. В сопоставлении с «Деревянной деревней» Гечко он видел иной смысл — возможность выявления новой художественной оптики и перспективы рассмотрения; его суждение об «Одиннадцатой заповеди» было весьма категорично: «историческая дистанция не отражается в содержательной структуре романа, особенно в его эпической перспективе» [10, № 7, s. 123]. Неудача романа, на его взгляд, коренится в отсутствии обобщения «индивидуальных и коллективных человеческих судеб в ключевой символ, с помощью которого мы можем открыть не только изображаемую историческую эпоху, но и свое сегодняшнее общественное и личное бытие» [10, № 7, s. 122]. Отсутствие прочной эпической концепции, — констатировал Матейов, — вообще представляет опасность для романа, особенно для молодой прозы.

Необходимость исторического подхода к роману Йонаша подчеркивается и в выступлениях других критиков. В. Шабик видел в нем предпосылку для определения истинного места романа в современной словацкой литературе. Перечислив в полемической форме целый ряд недостатков произведения — в том числе отсутствие глубоких художественных обобщений и эпической перспективы, идилличность представленного писателем деревенского мира — критик тем не менее положительно оценил вклад Йона-

ша в современную словацкую прозу. Это литература, по его мнению, которая в настоящее время обращается к социальной действительности, предпринимая серьезные попытки художественного овладения ею, может «на фоне конкретной исторической ситуации литературы служить примером, приносить нужные импульсы, продуктивные проблемы, быть катализатором» [10, № 8, s. 46].

В спор об историзме подхода к роману и о его литературных «корнях» включился и И. Кусы. Он подвел некоторый итог этой полемике, выделив в ней две позиции — «внеисторическую» молодых критиков (Сулика и Матейова), видящих только общность Йонаша с Гечко, и разделяемую им самим позицию критиков старшего поколения, которые подчеркивали значение и актуальность социально-исторической и идейной проблематики романа Йонаша, а при сопоставлении его с «Деревянной деревней» Гечко указывали на различие подхода, идеологической и художественной стратегии и отмечали прямо полемическое отношение «Одиннадцатой заповеди» к ней.

Наиболее убедительно, на наш взгляд, выступил по этому вопросу К. Розенбаум. Он указал на социально-исторические, жизненные предпосылки создания романа и одновременно подчеркнул его преемственную связь с лучшими произведениями словацкой прозы 50-х годов, на которых Йонаш «научился главному: не упрощать сложные общественные процессы» [10, № 9, s. 88].

Были затронуты в дискуссии и проблемы типизации, социально-психологической характеристики персонажей. Центральный герой романа, Шимон, представляется некоторым критикам недостаточно достоверным, его путь от забитого батрака до секретаря сельсовета — слишком молниеносным, расходящимся с логикой характера. Об этом говорил И. Сулик, к такому же выводу, полемизируя с Д. Окали, приходит и В. Минач, уделивший разбору этого персонажа специальное внимание. Poleмику вызвало и высказанное Суликом суждение о «размывании центральной сюжетной линии» второстепенными, мало функциональными эпизодами; Д. Окали, напротив, видит их необходимость для углубления жизненности изображения, психологической характеристики героев.

Важной чертой дискуссии было то, что многие ее участники стремились осмыслить роман Йонаша в общем контексте словацкой литературы 70-х годов, показать его значение для дальнейшего развития литературы. И. Кусы относил роман к «усилившейся в последние годы струе прозы, воскрешающей прошлое, те его периоды, ту среду, тех людей, которые стали выражением позитивных общественных и нравственных ценностей» [10, № 8, s. 51]. К. Розенбаум поддержал критиков, которые видят в романе Йонаша «произведение, развивающее нашу социалистическую литературу». Позиция социалистического писателя — главное в творчестве Йонаша, от нее «зависит дальнейшее развитие нашей социалистической литературы. Недооценка этой позиции нанесла в свое время литературе и критике значительный ущерб». «Йонаш своим романом уточнил отношение нашей литературы к реальности, укрепил эпическую тенденцию, подчеркнул сложность отражения действительности» [10, № 9, s. 90] — таков основной вывод в выступлении К. Розенбаума.

Дискуссия стала одной из основных форм критической деятельности в словацкой литературе; в следующем, 1977 г., развернулась дискуссия вокруг романа В. Шикеры «Мастера» (1976). Ситуация в литературе за два года, прошедшие с появления «Одиннадцатой заповеди» Я. Йонаша, заметно изменилась; вышли в свет новые произведения, развивающие тенденции, отмеченные критикой в середине 70-х годов. Новый качественный уровень прозы констатировали и критики, выступившие в дискуссии по роману Шикеры; Ю. Ноге говорил, например, об усилении жанровостилевой дифференциации прозы: «В таком контексте можно уже конкретно говорить о типах нашей современной эпической прозы, а не только „применять“ разнородные требования по отношению к одному типу прозы и одному конкретному произведению» [11, s. 110]. «Мастера», роман непростой по художественной идее и композиции, значительность которо-

го — в серьезности проблематики и писательском мастерстве В. Шикеры, вполне закономерно стал в этих условиях предметом критической дискуссии. Одна из важнейших проблем, поднятых в ходе ее — проблеме реализма романа, особенности отражения в нем действительности, исторического времени накануне Словацкого национального восстания. Целостность художественного видения, как одно из главных достоинств романа, была отмечена многими критиками. В. Шабик, выступивший в журнале «Ромбонд» с развернутой рецензией на роман Шикеры, которая дала зачин дискуссии, писал: «Хотя его роман насыщен тщательным выписыванием деталей и часто уходит в самые тонкие подробности, он направлен на отражение целостности жизни» [12]. Схожую мысль высказал и Ю. Ноге, говоря о мозаичности романа, обусловленной «множеством деталей и частичных истин о человеке, о людях», которые автор «соединяет в целостный образ людей и жизни» [11, с. 102]. Более скептически отнесся к роману В. Минач; полемизируя с рецензентами и участником дискуссии Ю. Ноге, он определил изображаемую в нем действительность, как «цельность очень конкретную, исторически и географически точно обусловленную. Речь идет о цельности „отчего дома“, западнословацкой деревни в очень конкретном времени» [13, № 11, с. 82]. Минач солидарен с Д. Окали, который подверг роман весьма резкой критике, упрекая Шикеру главным образом в том, что он не отразил «такую социально-историческую силу, как словацкий фашизм», открытое столкновение противоборствующих классовых сил; поэтому в романе недостает, по его убеждению, «цельной исторической и художественной правды, ее идейно-эстетического выражения во всей диалектической противоречивости и наготе» [13, № 10, с. 59]. Минач также говорит об отсутствии в романе признаков классовой дифференциации в деревне, социального конфликта; по его мнению, роман слишком уязвим в этом отношении, «потому что территория, на которую автор добровольно отправился, территория социально-исторического романа для его таланта — непригодная территория» [13, № 11, с. 84]. И Минач, и Окали исходили в своих оценках из бесспорно верных критериев, однако это были критерии определенного типа романа — социально-исторического, которые они «применили» (говоря словами Ю. Ноге) к произведению совсем другого типа, к роману социально-этической направленности, ведущая роль в котором принадлежит субъективному началу. «В чем же упрекают Шикеру? — задает вопрос Ф. Мико, подводя итоги этого спора. — В том, что он изобразил то, что хотел изобразить, что он не приблизился к центру исторических событий, что его образ не был „полным“? В действительности в его „Мастерах“ присутствует вся реальность в ее причинно-следственных связях. Его образ хотя и не „полный“, зато без сомнения „комплексный“» [13, № 12, с. 60].

Разделились мнения и в споре по проблеме типизации в романе, хотя он и не был таким острым. Д. Окали, говоря об отсутствии у Шикеры социально-исторических характеристик, подчеркивает, что негативные последствия этого недостатка особенно заметны в изображении отдельных персонажей и приводит в качестве примера «фигуру, над которой все смеются», — жестянщика Карчимарчика, единственного, на его взгляд, представителя антифашистских сил. Однако «негероичность» этого персонажа не мешает ему нести в романе большую идейную нагрузку: его рассуждения скрывают в себе народную мудрость, а действия решительны и обдуманно, не случайно именно он становится организатором ухода группы крестьян к партизанам в последней сцене романа. «Маленький», «неисторический» человек — основа художественного мира В. Шикеры. В «Мастерах», как отмечается многими критиками, этот человек представлен творцом истории. Ю. Ноге справедливо уточняет эту мысль: «Он является творцом не благодаря каким-то геройским поступкам, прямому участию в истории.., а благодаря этому своему будничному, неприметному, и в то же время непрестанному, кропотливому труду, наконец, благодаря своему отношению к жизни, вниманию к ее малым и большим делам» [11, с. 104]. О взгляде на события истории «из народа», «снизу», глазами «маленьких словацких людей, которые от века больше строили, чем унич-

гожали» [13, № 10, s. 65] говорит и И. Сулик. В такой художественной оптике Ф. Мико видит «очень точный реалистический принцип» творчества Шикулы.

Особенностью романа «Мастера» являются многочисленные авторские отступления, «разговоры», которыми перемежается основная сюжетная линия. Мнения критиков по поводу их роли в романе также разошлись. В то время как В. Минач и И. Сулик считают их слабостью эпической концепции, признаком излишней разговорчивости автора, Ю. Ноге называет отступления «лучшими и интереснейшими местами этой книги..., разговорами о ремесле и мастерстве — плотником и литературном» [11, s. 103]. Ф. Мико оценивает «разговоры» более сдержанно: способствуя реалистической характеристике персонажей, они иной раз в романе приобрятают характер авторского диктата, утрачивая при этом свою основную, на его взгляд, функцию.

Большинство выступивших в дискуссии дали роману высокую оценку как заметному явлению в прозе 70-х годов. Ю. Ноге отметил стремление Шикулы к широкому эпическому образу действительности, сочетание в его творчестве лучших традиций классической повествовательной эпики с некоторыми приемами современной эпики. И. Сулик, наряду с другими достоинствами романа, называет его народность, правдивость изображения социального и этического облика народа, богатство языка. В. Минач при всем критическом отношении к роману видит в нем «не только приятное и приемлемое чтение, но и художественное деяние» [13, № 11, s. 87], выделяющееся на фоне прозы 70-х годов. Как один из равноправных типов прозы в системе современной словацкой литературы, призванной «исследовать все общественное поле, испробовать все точки зрения» [13, № 12, s. 63] оценивает роман «Мастера» Ф. Мико.

В 1980 г. журнал «Словенске погляды» продолжил возрожденную им традицию, организовав дискуссию по роману П. Яроша «Тысячелетняя пчела» (1979). Роман был тепло встречен словацкой критикой и не вызвал почти никаких возражений. Высоко оценили критики стремление Яроша дать широкую социально-историческую, эпическую картину жизни словацкого народа в тяжелый для него период национального и социального угнетения на рубеже веков и до 1918 г. И. Сулик подчеркнул, что социально-исторический, классовый аспект романа отвечает потребности словацкой литературы, как никогда нуждающейся в крупномасштабной романной эпике для утверждения своих новых качеств после преодоления кризисных явлений. О тесной связи героев романа с социальным, общественным движением, с историческим процессом говорил Д. Окали. О. Марушьяк видит в романе широкий срез словацкой действительности на протяжении почти тридцатилетия. К «большой эпике», соответствующей его художественной направленности и характеру, относит роман Яроша Л. Патера. Небольшую полемику вызвали лишь публицистические авторские отступления, в которых дается характеристика политической ситуации, исторических событий. И. Сулик упрекал Яроша в «простом иллюстрировании известных тезисов и проверенных историей идей», изложенном языком «политических брошюр» [14]; Т. Жилка высказал возражение против «прямолинейных, гиперболизированных оценок исторических и политических событий в авторской речи» [15]; в то же время, Л. Патера рассматривал эти отступления, как «неэпические элементы, призванные определить широкие социально-политические рамки романа и его исходную перспективу» [16, s. 102]; полемические события, по его убеждению, не внешняя, а внутренняя сторона романа.

Единодушной была высокая оценка народности романа Яроша; отражение духа и образа жизни словацкого народа стало, по мнению многих критиков, одним из главных достоинств этого произведения. И. Сулик отметил большой интерес писателя к материальной и духовной культуре словаков; Д. Окали говорил о «Тысячелетней пчеле» как о книге, выразившей «художественное овладение главными чертами характера и социального облика нашего народного коллектива» [17, s. 86]. С отражением народного характера, его этических принципов он связывает, как

и Сулик, насыщенность романа элементами эротики, в чем Т. Жилка видит, напротив, недостаток, ведущий к «схематизации действия», «упрощенности отношений». В то же время, Т. Жилка высоко оценивает создание в романе образов представителей словацкого народа, «кристально чистых типов», жизненных и ярких. В выступлении Л. Патеры подчеркивалась оригинальность романа, ставшего «необыкновенно впечатляющим и, даже в контексте весьма богатой традиции словацкой эпической прозы, новаторским образом словацкого народа со всем своеобразием его индивидуальной и общественной жизни» [16, s. 99]. Народность пронизывает все элементы романа Яроша, в том числе и его образную систему; так, характерный для «Тысячелетней пчелы» фантастический, «магический» элемент тесно связан, как отмечают И. Сулик, О. Марушьяк и Л. Патера, с народным сознанием, сказочной мифологией.

Не было расхождений и в определении места романа в словацкой литературе и оценке плодотворности представленного им типа прозы. П. Штевчек, подводивший итоги дискуссии, охарактеризовал роман Яроша, как перспективный, «заставляющий думать о новом этапе подъема словацкого романа», как роман «активно функционирующий в современном литературном процессе» [18]. Л. Патера видит главное значение романа в открытии «новых художественных возможностей социалистической эпики в области традиционной тематики» [16, s. 102]. Важной заслугой П. Яроша Т. Жилка считает возрождение им жанра семейного романа в словацкой литературе. Д. Окали связывает успех романа с его «идейно-эстетическим звучанием, усиленным эстетической мощью», открытием «новых возможностей и горизонтов» [17, s. 91] в современной словацкой прозе.

Дискуссии в журнале «Словенске погляды», несмотря на некоторые недостатки, отмеченные и самой словацкой критикой, сыграли положительную роль в оживлении литературной жизни, активизации деятельности критики. Осмысляя наиболее значительные произведения прозы, словацкие критики, как мы пытались показать, стремились дать более широкие обобщения, представить картину всей словацкой литературы 70-х годов.

В целом, как нам представляется, можно отметить не только активизацию, но и заметное повышение уровня критики на протяжении 70-х годов. Укрепилась ее научная база, марксистская методология стала проверенным оружием словацкой критики, обеспечившим преодоление кризисных явлений в литературе и служащим сегодня ее созидательным задачам.

ЛИТЕРАТУРА

1. Noge J. Kritické komentáre. Bratislava, 1974.
2. Šmatlák S. Súčasnost' a literatúra. Bratislava, 1975.
3. Truhlář B. Literatúra a súčasnosť. Bratislava, 1976.
4. Rosenbaum K. Pamät' literatúry. Bratislava, 1978.
5. Petrík V. Próza 1972.— Slovenské pohľady, 1973, č. 3, s. 97.
6. Petrík V. Próza 1973 — Slovenské pohľady, 1974, č. 2, s. 65.
7. Števíček J. Slovenská próza 1974.— Slovenské pohľady, 1975, č. 2.
8. Truhlář B. Slovenská próza 1975.— Slovenské pohľady, 1976, č. 2.
9. Sulík I. Slovenská próza 1977.— Slovenské pohľady, 1978, č. 4.
10. Slovenské pohľady, 1976.
11. Noge J. Hovory o Majstroch a próze.— Slovenské pohľady, 1977, č. 3.
12. Vincent Šabík číta Sikulových Majstrov. Romboid, 1977, č. 2, s. 14.
13. Slovenské pohľady, 1977.
14. Sulík I. Jarošovo viacrozmerne «ad patres».— Slovenské pohľady, 1980, č. 7, s. 92.
15. Žilka T. Rodinný román s rustikálnou tematikou.— Slovenské pohľady, 1980, č. 9, s. 48.
16. Patera L. Nové možnosti socialistickej epiky.— Slovenské pohľady, 1980, č. 11.
17. Okáli D. Román o láske a práci.— Slovenské pohľady, 1980, č. 8.
18. Števíček P. Román mimo diskusie.— Slovenské pohľady, 1980, č. 12, s. 88.



МОЛОШНАЯ Т. Н.

ПРОЦЕССЫ СИНТАКСИЧЕСКОГО ПЕРЕРАЗЛОЖЕНИЯ СЛОВСОЧЕТАНИЙ В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО, ПОЛЬСКОГО, ЧЕШСКОГО, СЕРБСКОХОРВАТСКОГО И БОЛГАРСКОГО ЯЗЫКОВ)

В современных славянских языках, особенно в устной разговорной речи, довольно широко распространено явление, называемое синтаксическим переразложением. Оно состоит в изменении структуры словосочетаний в составе предложения в результате изменения смысловых и грамматических связей между их компонентами. Такие изменения взаимных связей компонентов словосочетаний внутри предложения обычно бывают обусловлены различными коммуникативными заданиями предложения (т. е. содержанием высказывания, его целью, обстановкой, в которой оно осуществляется, стилем речи, эмоциональной окрашенностью и т. п.). Синтаксическое переразложение приводит к распаду словосочетаний, к изменению их структурных типов — моделей, к возникновению новых моделей словосочетаний.

Здесь будут рассмотрены случаи переразложения глагольно-именных словосочетаний из трех и более слов с так называемым дательным двойной зависимости, т. е. с существительным в дательном падеже, которое не зависит ни от глагола, ни от существительного — прямого дополнения в отдельности, а характеризуется зависимостью от всего глагольно-именного словосочетания в целом. В таких словосочетаниях в результате изменения отношений между компонентами могут возникать зависимые субстантивные словосочетания. Так, в русском языке вместо модели Гл + Сущ¹_{вин} + Сущ²_{дат} или наряду с ней (как синонимическое образование) может возникнуть модель иной структуры — Гл + Сущ¹_{вин} + Сущ²_{род}, где второе существительное употреблено не в дательном, а в родительном падеже и относится уже не к глагольному словосочетанию в целом, а к первому существительному, образуя с ним определительную синтагму: *поцеловал даме руку* — *поцеловал руку дамы*. Если на месте второго существительного стоит личное местоимение в дативе, оно заменяется соответствующим притяжательным местоимением: *поцеловал ей руку* — *поцеловал ее руку*.

Дательный двойной зависимости имеет possessивное значение. Важно отметить, что он синонимичен родительному possessивному, но не является его полным дублетом. В то время как в конструкции с родительным падежом possessивное значение передается через грамматическую зависимость одного имени от другого без всякой связи с глагольным действием, в конструкции с дательным падежом подчеркивается отношение лица и гла-

гольного действия, через глагольное действие выражается связь двух объектов со значением посессивности.

Синтаксическое переразложение глагольных словосочетаний с дательным двойной зависимости чаще всего происходит в семантически ограниченной, но весьма употребительной группе трехсловных словосочетаний, образуемых глаголами, обозначающими физическое воздействие на часть объекта и тем самым — на объект в целом. Существительные в данной конструкции находятся в отношении «лицо — объект из так называемой сферы лица»¹. Это значит, что датив бывает представлен названиями человека, животных или персонафицированных неодушевленных предметов, а имя в аккумулятиве называет часть тела человека или животного, имена родства, физические или психические понятия, относящиеся к человеку, социальные понятия, связанные с личностью, неодушевленные предметы обладания (чаще всего — одежду, находящуюся на теле человека) и пр. Существительные со значением части тела обычно трактуются как обозначения неотторжимой принадлежности лица. Они существенно отличаются от других имен личной сферы своей семантикой и сочетаемостью. Так, для ряда существительных, обозначающих части тела, переразложение дативных словосочетаний с образованием генитивных невозможно. Например, словосочетание *вырезать опухоль больному* не имеет синонимического соответствия **вырезать опухоль больного*. Представляется, что невозможность переразложения словосочетаний данного типа объясняется семантическими особенностями глагола и имени в аккумулятиве. Глагол обозначает нарушение неотторжимой принадлежности, существительное же принадлежит к названиям частей тела.

Синтаксическое переразложение, сопровождаемое возникновением синонимичных моделей, наблюдается также в трехчленных глагольно-именных словосочетаниях с предлогами (*в, на, над*) перед первым существительным. В таких словосочетаниях чаще всего участвуют глаголы чувственного восприятия типа *смотреть, видеть, уставиться*, но не только они: *смотреть в глаза другу — смотреть в глаза друга, (луч света) бил в лицо женщине — бил в лицо женщины*.

Во всех случаях переразложения глагольно-именных словосочетаний с дательным двойной зависимости в русском языке сильной моделью, проявляющей тенденцию занять господствующее положение и вытеснить синонимичную, является модель с зависимым субстантивным генитивным словосочетанием. Приведенные выше и подобные им случаи переразложения связаны как с процессом вытеснения в русском языке дательного падежа родительным в субстантивных словосочетаниях, так и с ростом количества и употребительности самих субстантивных словосочетаний различных структурных типов. Активно протекающие в русском литературном языке уже в XIX в., эти процессы еще более активизируются с начала XX в. и особенно в наше время.

Перейдем от русского языка к другим славянским. Нами было собрано довольно большое количество трехчленных глагольно-именных словосочетаний с дательным двойной зависимости и синонимичных им словосочетаний с родительным падежом в польском, чешском, сербскохорватском и болгарском языках². В современных славянских литературных языках, не принадлежащих к балканскому языковому союзу, обнаруживается в общем одна и та же тенденция — возникают субстантивные словосочетания с зависимым существительным в родительном падеже, заменяющим дательный падеж. В разных языках эта тенденция проявляется по-разному, однако всюду далеко не так активно, как в русском. В славянских (и неславянских) балканских языках соотношение конструк-

¹ Термин «имена сферы лица» восходит к Ш. Балли, в современной лингвистике он употребляется довольно широко. См. [1], а также [2, 3].

² Материалом исследования служили толковые и двуязычные словари и грамматики рассматриваемых языков, отдельные специальные исследования, а также сведения, полученные от информантов-лингвистов. Список основных источников, из которых извлекался материал, приведен в конце статьи.

дий с дательным и родительным падежами несколько иное. Там действует общебалканская тенденция к слиянию дательного и родительного.

Отличие других славянских языков от русского состоит и в том, что посессивный дательный участвует не только в конструкциях типа Гл + Сущ¹_{вин} + Сущ²_{дат}, где объект из сферы лица выражен винительным падежом и является объектом действия, но также и конструкциях типа Сущ¹_{им} + Гл + Сущ²_{дат} с именительным падежом существительного, называющего объект из сферы лица и являющегося подлежащим: польск. Józefowi umarł ojciec, ząb mi się złamał, włosy mu posiwiały, polityka nie idzie ludziom do głowy; чешск. nohu mu uklouzly, Toníkovi jihlo srdce, krev se mi pění, dech se nám zatajil, mráz mi šel po těle; срх. *му срце бије, прст ми штреца, отац ми је болан*.

Легко заметить, что объектно-посессивные конструкции Гл + Сущ¹_{вин} + Сущ²_{дат} (русск. *пожать руку товарищу*, польск. *ślepym oczu otwierać*) образуются с помощью переходного глагола; датив здесь определяет прямое дополнение. В конструкциях же с объектом обладания, выраженным именительным падежом, всегда употребляется непереходный глагол; здесь датив определяет подлежащее. В русском языке конструкции этого типа невозможны.

В случае словосочетаний с предлогом при первом существительном глагол также является непереходным (русск. *броситься в объятья брата*, польск. *pluwałi mu na oblicze*). При этом к непереходному следует приравнивать и переходный глагол с прямым дополнением в винительном падеже, если в предложении есть еще предложная группа, зависящая от глагола: чешск. *vyřila mu mast na hlavu*, польск. *założył jej postronek na szyji*. Переходный глагол, «насытив» свою сильную валентность, становится как бы эквивалентен непереходному. Датив в таких предложных словосочетаниях определяет обстоятельство места.

В польском языке широко распространены обсуждаемые трехчленные глагольно-именные словосочетания с посессивным дательным. В ряде случаев имеются также синонимичные образования не с дательным, а с родительным падежом второго имени, например, *całuje rączki pannie* и *całuje rączki pannę* (ср. также *wodza rękę ucałował*), *ranisz serce poecie* и *ranisz serce poety*, (*żal*) *ściskał ojcu serce* и *ściskał serce ojca*, *reçe zawiązał królowi* и *zawiązał reçe króla*, *uratować życie pacjentowi* и *uratować życie pacjenta*. Структуру этих дублетных пар словосочетаний можно изобразить, как и для русского языка, формулой (Гл + Сущ¹_{вин}) + Сущ²_{дат} — — Гл + (Сущ¹_{вин} + Сущ²_{род}).

В случае, когда датив представлен личным местоимением, место генитива занимает притяжательное местоимение: (Гл + Сущ¹_{вин}) + Мест личн_{дат} — Гл + (Мест притяж + Сущ¹_{вин}). Например: *ściskała mu rękę — ścisnęła jego rękę*, *ostrzygano im włosy — ostrzygano ich włosy*, *głaszczący mu twarz — głaszczący jego twarz*, *przestrzelił mi udo — przestrzelił moje udo*, (*światło*) *razi mi oczy — razi moje oczy*, *poprawiała im pościel — poprawiała ich pościel*, *skradną ci trepu — skradną twoje trepu*, *splamić komu suknię — splamić czyją suknię*. Поскольку форма дательного падежа личного местоимения 3 лица единственного числа женского рода jej омонимична соответствующему притяжательному местоимению, возникает также омонимия рассматриваемых словосочетаний: *ściskał jej rękę — сжал ей руку* и *сжал ее руку*. То же в словосочетаниях *złamał jej życie*, *zranił jej serce*, *całować jej kolana*, (*rumieniec*) *pali jej twarz*.

Возвратное местоимение в форме дательного падежа *sobie* ведет себя особым образом, в том смысле, что ему редко может быть поставлено в соответствие притяжательное местоимение *swój* с синонимичным преобразованием (Гл + Сущ¹_{вин}) + Мест возвр → Гл + (Мест притяж + Сущ¹_{вин}). Действительно, если некоторые пары словосочетаний и могут рассматриваться как синонимичные, например, *poprawia sobie okulary — poprawia swoje okulary*, *popsuć sobie zdrowie — popsuć swoje zdrowie*, то возможность преобразования в ряде других случаев сомнительна или иск-

лючена, например, rwać sobie włosy (z głowy) — rwać swoje włosy (?), złamać sobie nogę, przemyć sobie oczy, oczyścić sobie paznokcie. Здесь в качестве синонимичных соответствий естественнее выступать словосочетаниям без всякого местоимения — przemyć oczy, oczyścić paznokcie, которыми обозначается обычно повторяющееся, рутинное действие [4].

Не только возвратное, но и все личные местоимения свободнее и естественнее употребляются в конструкции с дательным падежом. Даже если словосочетание с дательным личного местоимения может иметь соответствие с притяжательным местоимением типа приведенных выше, тем не менее более частотен дательный падеж. В достаточно большом количестве случаев конструкция с дативом личного местоимения является единственно возможной, например: Jowisz mu rozum odbiera, otworzył im oczy (na różne rzeczy); zepsuł mu skórę, rękę mu uciał, złamał mi kark, wybić mu oko, im kości połamię, rozbić mu głowę, (kaszel) wygrywa mi płuca, (trzeba) mu krew puścić, policzyć ci zęby, przetaczać im krew. Точно так же и существительные в ряде случаев образуют лишь конструкции с дательным, не допуская трансформацию в родительный падеж. Например: wybić zęby przeciwnikowi, puszczać choremu krew, złamali nogę Janowi. Очевидно, здесь, как и в русском языке, играет роль семантика глагола и существительных — родительный падеж невозможен при глаголах, обозначающих отторжение у лица неотторжимой принадлежности, чаще всего — части тела.

Так же как в русском языке, в польском дательный двойной зависимости участвует и в глагольных словосочетаниях с предлогом при первом существительном или местоимении. Такие словосочетания выражают локальное значение. Их структуру можно изобразить формулой (Гл + предл + Суш¹_{кось}) + Суш²_{дат} или (Гл + предл + Суш¹_{кось}) + Мест личн_{дат}. Эти словосочетания могут иметь синонимические соответствия, в которых дательный падеж существительного замещен родительным, а дательный падеж личного местоимения — притяжательным местоимением, согласованным с первым существительным — Гл + предл + + (Суш¹_{кось} + Суш²_{род}) или Гл + предл + (Мест притяж + Суш¹_{кось}. В нашем материале обнаружены подобные словосочетания с предлогами w и na и винительным падежом, z и do и родительным падежом и др. Рассмотрим некоторые из них.

1. (Гл + w + Суш¹_{вин}) + Суш²_{дат} — Гл + w + (Суш¹_{вин} + Суш²_{род}) или (Гл + w + Суш¹_{вин}) + Мест личн_{дат} — Гл + w + (Мест притяж + + Суш¹_{вин}. Например: patrzeć ministrowi w oczy — patrzeć w oczy ministra; такого же типа синонимическое соответствие имеют словосочетания zajrzeć dziewczynie w twarz, zagłada mu w twarz, rzuciła się w objęcia bratu.

Синонимичной конструкции с родительным падежом обычно не находим в случае, если словосочетание с дативом является фразеологически связанным: popatrzeć prawdzie w oczy, darowanemu koniowi w zęby nie zagładają, palić sobie w łeb, patrzył mu w kieszenie.

2. (Гл + na + Суш¹_{вин}) + Суш²_{дат} — Гл + na + (Суш¹_{вин} + Суш²_{род}) или (Гл + na + Суш¹_{вин}) + Мест личн_{дат} — Гл + na + (Мест притяж + + Суш¹_{вин}. Например: patrzył robotnikowi na nogi — patrzył na nogi robotnika, rzuciła mu się na szyję — rzuciła się na jego szyję.

Фразеологически несвободные словосочетания с дативом не имеют синонимических соответствий, например, (nędza i głód) szły na rękę agitatorom, patrzyć (niewinnym) ludziom na ręce.

3. (Гл + pod + Суш¹_{вин}) + Суш²_{дат} — Гл + pod + (Суш¹_{вин} + Суш²_{род}) или (Гл + pod + Суш¹_{вин}) + Мест личн_{дат} — Гл + pod + + (Мест притяж + Суш¹_{вин}. Например: (spróbował) denatowi zajrzeć pod powieki — zajrzeć pod powieki denata, kręcisz mi się pod nogami.

4. (Гл + do + Суш¹_{род}) + Суш²_{дат} — Гл + do + (Суш¹_{род} + Суш²_{род}) или (Гл + do + Суш¹_{род}) + Мест личн_{дат} — Гл + do + (Мест притяж + + Суш¹_{род}. Например: (muchy) wleciała mi do pokoju — wleciała do mego pokoju.

По причине фразеологической связанности такому словосочетанию с дативом, как *przyjdzie ci (myśl) do głowy*, не может соответствовать **przyjdzie (myśl) do twojej głowy* и т. п.

5. (Гл + z + Сущ¹_{род}) + Сущ²_{дат} — Гл + z + (Сущ¹_{род} + Сущ²_{род}) или (Гл + z + Сущ¹_{род}) + Мест личн_{дат} — Гл + z + (Мест притяж + Сущ¹_{род}). Например: *wziął mi z rąk dłuto — wziął z jego rąk*. Соответствие (*karulusz*) *zleca mi z głowy — zleca z mojej głowy* более вероятно, чем (*tytuł*) *wyleciał mi z głowy — *wyleciał z mojej głowy*. В русском языке подобное словосочетание включает в свой состав предлог *у* и существительное в родительном падеже: (*название*) *вылетело у меня из головы*.

6. (Гл + koło + Сущ¹_{род}) + Сущ²_{дат} — Гл + koło + (Сущ¹_{род} + Сущ²_{род}) или (Гл + koło + Сущ¹_{род}) + Мест личн_{дат} — Гл + koło + (Мест притяж + Сущ¹_{род}). Например: (*mucha*) *lata ci koło nosa — lata koło twego nosa*.

7. (Гл + za + Сущ¹_{тв}) + Сущ²_{дат} — Гл + za + (Сущ¹_{тв} + Сущ²_{род}) или (Гл + za + Сущ¹_{тв}) + Мест личн_{дат} — Гл + za + (Мест притяж + Сущ¹_{тв}). Например: (*ciagle*) *stoisz mi za plecami — stoisz za moimi plecami*.

8. (Гл + w + Сущ¹_{предл}) + Сущ²_{дат} — Гл + w + (Сущ¹_{предл} + Сущ²_{ро}) или (Гл + w + Сущ¹_{предл}) + Мест личн_{дат} — Гл + w + (Мест притяж + Сущ¹_{предл}). Например: *w uszach dźwięczał mi (jej daleki śmiech) — w moich uszach dźwięczał*.

9. (Гл + na + Сущ¹_{предл}) + Сущ²_{дат} — Гл + na + (Сущ¹_{предл} + Сущ²_{род}) или (Гл + na + Сущ¹_{предл}) + Мест личн_{дат} — Гл + na + (Мест притяж + Сущ¹_{предл}). Например: *położył mi (dłóń) na ramieniu — położył (dłóń) na jego ramieniu*.

10. (Гл + po + Сущ¹_{предл}) + Сущ²_{дат} — Гл + po + (Сущ¹_{предл} + Сущ²_{род}) или (Гл + po + Сущ¹_{предл}) + Мест личн_{дат} — Гл + po + (Мест притяж + Сущ¹_{предл}). Например: *przejechał mi się po nodze — przejechał się po jego nodze*.

Из приведенных примеров видно, что дативные словосочетания, содержащие существительное с предлогом, как и дативные словосочетания с беспредложным существительным, более разнообразны и частотны, чем генитивные словосочетания. Однако данные исторической грамматики свидетельствуют, что словосочетаний с посессивным родительным падежом в современном польском все же больше, чем в предыдущие периоды истории языка. В прошлом датив использовался чаще, особенно в предикативных структурах, например: *Dobra niewiasta jest okrasa mężowi, niesława domowi ich* (XVI в.) — современное *okrasa męża, niesława domu ich*; *Lew jest król zwierzętom* (XVII в.) — современное *król zwierząt*; *sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem* (Мицкевич) — *swoim sterem* и т. д. (см. [5]).

Итак, материал показывает, что кроме трехчленных глагольно-именных словосочетаний с дательным двойной зависимости, в польском языке имеются синонимичные им словосочетания с родительным падежом второго существительного или с притяжательным местоимением. При этом наблюдается явное преобладание дательного над родительным в этих конструкциях. Если в современном польском дательный и отступает в какой-то мере перед родительным, то этот процесс идет гораздо менее активно, чем в русском языке. Таким образом, интересующее нас синтаксическое переразложение глагольно-именных словосочетаний с образованием субстантивных типа Сущ¹ + Сущ²_{род} или Мест притяж + Сущ¹ осуществляется в польском языке реже, чем в русском.

Для чешского языка рассматриваемые глагольно-именные словосочетания с посессивным дательным чрезвычайно характерны. При этом «сфера лица» является открытой в большей степени, чем в других славянских языках (больше, чем в русском, и даже больше, чем в польском). Кроме существительных, для которых отнесенность к лицу составляет неотъем-

лемое свойство и входит в их значение, к этой сфере могут быть отнесены любые существительные, связанные с лицом. В силу этого дативная конструкция оказывается самым распространенным способом выражения описываемых отношений, охватывая очень широкий круг понятий, связанных со сферой лица. Примеры: *ulíbat Pánu Bogu nohu, lízat někomu paty, potřást ruku někomu, stisknout někomu dlaň, rozvázala kuřatům křídla, převazovat rány někomu, lámat vaz někomu, rozbít někomu hlavu, trhat husám peří, kazit lidem náladu, nekazil ženě radost, zalíbal jí ruce, stiskla mu ruku, potřásl jí ruku, ostříhal mu vlasy, (granát) mu utrhl nohu, (kašel) mu rve plíce, zachranil mi život, (doktor) ti prsty uštíhá, pít krev dětem, (kočka) si líže tlapky, poranit si nohu, rozbít si koleno, ničít si zdraví, kazil si oči, palit si vlasy, hladit si bradu, upravovala si účes, zavazovat si prst, poškrabával si vousy, uvázat si kravatu, fěrtoch mu uvázal, rozbít si brýle, (pán) si (musil oběma rukama) držet klobouk, trhat si šaty, list mu vyškubl.*

Выше уже говорилось, что в чешском языке, подобно польскому и в отличие от русского, кроме объектной конструкции существует и субъектная с посессивным дательным. Благодаря этому распространенность посессивного дательного еще более увеличивается. Примеры трехчленных словосочетаний с именительным падежом объекта из личной сферы: *kalhoty mu kloužou dolů — у него сползают брюки, chvějí se jí rty — у нее дрожат губы, nos mu se svraštil — у него наморщился нос, mrzly mu nohy, praskly mi rukavičky, otec mi stůně, žena mu zemřela, chlapec nám pokašláva* и пр.

В чешком языке распространены также и генитивные словосочетания (родительный падеж существительного или притяжательное местоимение) с посессивным значением. Например: *(může) otevřít oči slepým — (může) otevřít oči slepých, zalíbal jí ruce — zalíbal její ruce, (chceš) kazit mi plánu — (chceš) kazit moje plány, (doktor) ti prsty uštíhá — uštíhá tvé prsty, (tyto léky) zmírňují bolesti lidem — zmírňují bolesti lidí, (to) usnadňuje práci radlici — usnadňuje práci radlice* (заметим, что в последнем примере в форме датива выступает неодушевленное существительное).

В чешском языке местоимения в дативе употребляются в посессивной конструкции чаще, чем существительные. Местоимение как бы притягивает датив. Особенно часто встречаются краткие формы личных местоимений, о чем свидетельствуют приведенные выше примеры. Появление кратких личных местоимений в дательном падеже представляется иногда даже избыточным, так как они употребляются и тогда, когда нет явного указания на лицо, затронутое действием. Так, краткое *si* появляется почти автоматически при глаголе в форме 3-го лица ед. числа, например, *kazil si oči, hladil si bradu, uvázal si kravatu, držel si klobouk* (ср. русск. *портить глаза чтением; он вошел, поглаживая бороду; он завязал перед зеркалом галстук; держал обеими руками шляпу* и пр., где нет ни притяжательных, ни личных местоимений в дативе). Некоторые авторы рассматривают такое *si* (и другие краткие формы личных местоимений в дательном падеже) не как полнозначные слова, а как грамматикализованные агглютинирующие притяжательные частицы. Разное положение с дательными формами личных и притяжательными местоимениями в русском и чешском (а также польском) языках связано, в частности, с разными способами выражения категории определенности-неопределенности в этих языках (см. [6]).

Избыточность кратких форм личных местоимений в дативе можно продемонстрировать случаями одновременного употребления этих форм и притяжательных местоимений: *poranil mi mé naděje, vám chtěl kazit vaši kariéru*. Казалось бы, для выражения посессивного значения достаточно одного притяжательного местоимения или одного личного местоимения в дативе. Такое положение характерно для русского языка — *хотел испортить вашу (или вам) карьеру*. Случаи типа *все мое пальто мне испачкали* относятся исключительно к разговорной речи и к эмоционально окрашенному, а не нейтральному стилю. В чешском же языке притяжательное местоимение как бы подкрепляется личным в дательном падеже. Можно

сказать, что имеет место своего рода реприза посессива, которая, впрочем, и здесь более характерна для устной, чем для письменной формы языка.

Таким образом, в конструкциях с посессивным дативом у глаголов возникают особые посессивные связи, которые не всегда соответствуют связям, образуемым глаголом и полнозначным существительным. В них отражается тенденция чешского языка (отчасти прослеживаемая в польском и других славянских языках) вводить в самые разнообразные конструкции указание на лицо, косвенно затронутое действием.

Чешский посессивный дательный участвует в большом количестве предложных словосочетаний, имеющих структуру (Гл + предл + Суш¹_{косв}) + Суш²_{дат} или (Гл + предл + Суш¹_{косв}) + Мест личн_{дат}. Нами обнаружены такие, например, типы словосочетаний с предлогами при первом существительном:

1. (Гл + на + Суш¹_{вин}) + Суш²_{дат}: *vybila mu (mast) na hlavu, hledět někomu na prsty, (darovanému) koni na zuby nehled', padl panu Kašparu na mysl, vrhla se mu na šiji, (slunce) vložilo (svým) vyznáváčům na tvář (masku...).*

2. (Гл + v + Суш¹_{вин}) + Суш²_{дат}: *hledět smrti v tvář, hledět nebezpečí v tvář, v oči pohledla (svému) milému.*

3. (Гл + do + Суш¹_{род}) + Суш²_{дат}: *hledět někomu do očí, hledět někomu do oken, podívat se někomu do očí, padnout do náručí někomu, člověku nahrne do srdce, (slunce) nám peklo do zad, mu naplivali do tváře, panům teče do bot.*

4. (Гл + kolem + Суш¹_{род}) + Суш²_{дат}: *(děti) vrhnou se tátovi kolem krku, položí jí ruku kolem krku.*

5. (Гл + s + Суш¹_{род}) + Суш²_{дат}: *(kámen) jí padl se srdce, trhala si (vlasy) s hlavu.*

6. (Гл + z + Суш¹_{род}) + Суш²_{дат}: *(list) padl mu z ruky.*

7. (Гл + k + Суш¹_{дат}) + Суш²_{дат}: *padnout k nohám někomu (ср. русск. устар. Он старцу пал к ногам).*

8. (Гл + v + Суш¹_{предл}) + Суш²_{дат}: *v očích jí pánilo, poskubává mně v (levém) ramenu, jí zůstaly ve tváři (jen... oči).*

В некоторых случаях здесь возможны синонимичные конструкции генитивной структуры, такие как *jí zůstaly ve tváři* — *zůstaly v její tváři* и пр. Не имеют генитивных синонимов, в первую очередь, все несвободные, фразеологически связанные словосочетания типа *hledět někomu na prsty* и др.

Итак, рассмотренный материал свидетельствует о том, что в чешском языке позиции посессивных трехчленных словосочетаний с дательным падежом двойной зависимости чрезвычайно сильны. Едва ли можно говорить о наличии интересующего нас структурного переразложения, состоящего в замене дательного падежа родительным, в результате чего образуется именное словосочетание с подчинением существительного в генитиве или притяжательного местоимения первому существительному.

Многочисленные примеры свидетельствуют о широком распространении трехчленных глагольно-именных словосочетаний с посессивным дательным в сербскохорватском языке: *стисну руку ратнику, им протресу руке, му пољубим руку, љубе руке фратрима, држати некоме руку, узетост му стегла мождање конце, јој кошуља реже младо месо, то ми срце пара, капетан спасио је живот мајору, слепима очи може отворити, лагор глади нам лица, загорчавати себи живот, мы кваре весеље, му олакшати болести, везати језик некоме, некому пробити главу, извући уши некоме, сломиће ми кичму, сложити ребра некоме, сломио му ноге, шта ми руши сан, сунце му жига теже, водити душу некоме, врана врани очи не вади, пустио ми литру крви, поклону се зуби не гледају.*

Имеются также синонимичные словосочетания с родительным посессивным или притяжательным местоимением. Например, *стискати руку свога пријатеља* (ср. *стисну руку ратнику*), *је стегнуо њезину руку,*

музика је гладила његове нерве, упропаштивати своје здравље (ср. загорчавати себи живот), олакшати свој положај и пр.

Структуру дативних и генитивних конструкциј можно изобразити уже известним нам формулама (Гл + Суш¹_{вин}) + Суш²_{дат} — Гл + (Суш¹_{вин} + Суш²_{род}) или (Гл + Суш¹_{вин}) + Мест личн_{дат} — Гл + (Мест притяж + Суш¹_{вин}).

Далеко не все дативные словосочетания имеют в качестве синонимов генитивные. Обычно невозможно преобразование словосочетаний с уже отмеченной в русском, польском и чешском языках семантической группой глаголов, обозначающих отторжение у лица неотторжимого предмета из личной сферы (чаще всего — части тела). Например, *пустио ми литру крви*, но не **пустио литру моје крви*; *вадити зуб некоме*, но не **вадити зуб некога*; *вади очи некоме*, но не **вади очи некога* и пр.

Наблюдаются также случаи одновременного участия в словосочетании и личного местоимения в дативе и соответствующего притяжательного местоимения, например, *вам олакшати ваше бреме*. Как уже упоминалось, подобное явление наблюдается во всех рассматриваемых языках.

В сербскохорватском языке известен еще один тип трехчленного глагольно-именного словосочетания с посессивным значением, имеющий структуру Гл + Суш¹_{дат} + Суш²_{дат}: *прилазити некоме руци, приде му руци, јој прилазе руци* (ср. русск. *подходить к ее руке*) [7]. Эта своеобразная конструкция, характерная для сербскохорватского языка, является, очевидно, устаревшей. Аналогично этому мы находим в русском языке такие устаревшие изолированные выражения, как *схватив ей руку, говорит; он старцу пал к ногам* и др. [8].

В современном сербскохорватском языке преобладающее распространение имеют дативные словосочетания вида Гл + Суш¹_{вин} + Суш²_{дат}, но генитивные также встречаются весьма часто, причем, как представляется, употребительность последних увеличивается.

Так же, как в других славянских языках, в сербскохорватском дательный двойной зависимости участвует и в глагольных словосочетаниях с предлогом при первом существительном или местоимении. Структуру таких словосочетаний, имеющих локальное значение, можно изобразить формулой (Гл + предл + Суш¹_{косв}) + Суш²_{дат} или (Гл + предл + Суш¹_{косв}) + Мест личн_{дат}. В нашем материале обнаружены следующие типы предложных словосочетаний:

1. (Гл + у + Суш¹_{вин}) + Суш²_{дат}: *љубити некоме у руку, пљунуше му у лице, ударају горостасу у чело, матери не гледа у очи, гледати некоме у срце, загледати у желудац некоме, смрт не гледа никоме у брке, завирити у душу некоме, баца увреде у лице некоме, пасти у очи некоме.*

2. (Гл + на + Суш¹_{вин}) + Суш²_{дат}: *леваше] му маст на главу, се ћогу на рамена баца, изићи на очи некоме, пада јој на лице.*

3. (Гл + о + Суш¹_{вин}) + Суш²_{дат}: *обесите се о врат некоме.*

4. (Гл + пред + Суш¹_{вин}) + Суш²_{дат}: *баца се му пред ноге, му пред очи майка дође, изиће му пред очи гомила.*

5. (Гл + под + Суш¹_{вин}) + Суш²_{дат}: *ставити некоме нож под грло, им под руку дође.*

6. (Гл + око + Суш¹_{род}) + Суш²_{дат}: *пасти око врата некоме, бацила ми је руке око врата.*

7. (Гл + до + Суш¹_{род}) + Суш²_{дат}: *им је дошло до ушију.*

8. (Гл + од + Суш¹_{род}) + Суш²_{дат}: *очи му севнуше од узбуђења.*

9. (Гл + из + Суш¹_{род}) + Суш²_{дат}: *ми је испало из памети.*

10. (Гл + с + Суш¹_{род}) + Суш²_{дат}: *иди му с очију, му никако ишли с памети.*

Эти дативные словосочетания с предлогом при первом существительном могут иметь синонимические соответствия, в которых дательный падеж существительного заменен родительным, а дательный падеж личного

местоимения — притяжательным местоимением. Например, *любити не-
кже у руку — любити у руку некога, пада јој на лице — пада на него лице.*

Однако подобные соответствия наблюдаются далеко не всегда. Датель-
ный падеж достаточно твердо удерживает свои позиции, так что процесс
синтаксического переразложения глагольных словосочетаний происходит
в сербскохорватском языке гораздо менее активно, чем в русском (или
в польском) языках.

В болгарском языке соотношение дативных и генитивных конструк-
ций особое, поскольку там нет падежной системы у имени существитель-
ного. В современном языке сохранились отдельные старые формы вини-
тельного, а иногда — дательного падежей некоторых существительных,
а также трехчленная система (Им — Вин — Дат) у личных местоимений.
К личным местоимениям в данном отношении примыкает неопределенно-
личное местоимение *някой*, имеющее формы *някой — някму — някого*.
Подавляющее большинство существительных не имеет падежных форм.
Для выражения значений датива и генитива одинаково используется пред-
лог *на* в сочетании с общим падежом существительного.

Такая ограниченность падежного словоизменения и совмещение зна-
чений дательного и родительного падежей в конструкции с предлогом *на*
ограничивает как объем самих трехсловных глагольно-именных словосо-
четаний с дативом, так и сферу действия переразложения этих словосо-
четаний. Вообще о переразложении в болгарском языке приходится гово-
рить в известной степени условно. Его можно усмотреть в следующем.

I. В случае словосочетаний с остатками датива существительных или
с дательным падежом неопределенно-личного местоимения *някой* соот-
ветствующая генитивная конструкция содержит предлог *на* и второе су-
ществительное в старой форме винительного падежа или неопределенно-
личное местоимение *някой* в винительном падеже. Соотношение дативного
и генитивного словосочетаний можно изобразить в этом случае формулой
(Гл + Суш¹_{общ}) + Суш²_{дат} или Мест_{неопр_{дат}} — Гл + (Суш¹_{общ} + *на* +
+ Суш²_{вин}) или Мест_{неопр_{вин}}). Например, *бръсна глава човеку — бръсна
глава на човека, целувам ръка някому — целувам ръка на някого, спася
живота някому — спася живота на някого, връзвам ръцете някому —
връзвам ръцете на някого.*

Число примеров дативных словосочетаний можно увеличить: *отварям
някому очите, пускам някому кръв, вадя зъб някому, вадя очите някому,
вадя душата някому, гарван гарвану око не вади* и пр. Далеко не все они
имеют генитивные соответствия. Отсутствие генитивного словосочетания
определяется семантическими условиями, обсуждавшимися выше — глагол
обозначает отторжение, а существительное в винительном падеже —
неотторжимый объект обладания, чаще всего — часть тела. Например,
при *пускам някому кръв* невозможно **пускам кръв на някого*. Ср. подоб-
ное же положение в русском языке: *пустить кровь пациенту*, но не **пу-
скать кровь пациента*.

II. В случае словосочетаний с личным местоимением в форме датель-
ного падежа соответствующее ему генитивное словосочетание включает
существительное в общем падеже и краткую энклитическую форму при-
тяжательного местоимения. Соотношение дативной и генитивной кон-
струкций изображается формулой (Гл + Суш_{общ}) + Мест_{лич_{дат}} —
— Гл + (Суш_{общ} + Мест_{притяж}): *турците си бръснат главите —
бръснат главите си, отрязаха му ухото — стрязаха ухото му, да ми
целунеш ръка — да целунеш ръката ми, ти спаси живота — спаси жи-
вота ти, един му продупчи дрехата — продупчи дрехата му, счупиша му
чашата — счупиша чашата му*. Подобные же синонимические соответ-
ствия имеют и последующие примеры: *вълкът му ближе лютата рана,
глади му глава къдрава, поправя си здравето, си поправят забрадките,
вържи ми пръста, му счупи главата, гърдите му пробил куршумът прок-
лет, хабя си нервите, той ми извади едното око, счупвам си ръката, скубя
си косата, лояя кокошки и скубя им жерата, режа си ноктите, с сряд му
откъсна единия крак, ще ти сткъсна главата, сткъсна ми ръката,
мъка кари сърцето му, ракията пареше гърлото му, връзаха ръцете*

му, огънят печеше лицето ѝ, тя връзва коня ми, тоя шум късаше нервите ми, простреляха коня ми, той бръснеше мустаците си, хабя времето си.

Поскольку в болгарском языке дательный падеж личных местоимений и притяжательные местоимения совпадают по форме, переразложение сводится к изменению порядка слов в словосочетании. Но поскольку порядок слов в болгарском предложении и словосочетании, хотя и более жесткий, чем в других славянских языках, все же допускает известную свободу, часто остается неясным, имеем ли мы дело с дательным падежом личного местоимения или с притяжательным местоимением и, следовательно, можно ли говорить о переразложении словосочетаний. Например, в предложении *Гърдите му пробил куришумът проклет* не ясно членение — *гърдите му* (притяжательное местоимение) или *му пробил* (дательный падеж личного местоимения). Традиционно считается, что краткое местоимение входит в глагольное словосочетание, т. е. является формой дательного падежа, если оно предшествует глаголу (например, *ти спаси живота, му ближе лютата рана*) или стоит непосредственно после глагола, начинающего предложение (*отрязаха ти ухото, гладя му глава къдрава*). Краткое местоимение входит в именное словосочетание, т. е. является притяжательным местоимением, если оно стоит на втором месте в именной группе (чаще всего — после существительного, например, *да целунеш ръката ми*)³. В предложении краткое местоимение может оказаться в позиции, отвечающей этим двум требованиям одновременно — перед глаголом и после существительного или на втором месте в именной группе. Таков приведенный выше пример *Гърдите му пробил куришумът проклет*. Краткое местоимение *му* стоит после существительного, поэтому, казалось бы, должно рассматриваться как притяжательное местоимение, но одновременно оно предшествует глаголу и может считаться дательным падежом личного местоимения. В таких случаях омонимия неразрешима формальными средствами и может быть снята лишь на семантическом уровне, в более широком контексте. В большом количестве подобных примеров из нашего материала омонимия остается неснятой, поэтому оказывается бессмысленным говорить о переразложении словосочетаний.

Более очевидно переразложение в случаях предложных словосочетаний, выражающих локативные отношения и имеющих структуру а) (Гл + + в + Сущ¹_{общ}) + Мест лич_{дат} — Гл + в + (Сущ¹_{общ} + Мест притяж): *трябва да му надникнеш в душата — надникнеш в душата му, пада му в краката — пада в краката му, погледна му в очите — погледна в очите му*; б) (Гл + в + Сущ¹_{общ}) + Сущ²_{дат} или Мест неоп_{дат} — Гл + в + + (Сущ¹_{общ} + на + Сущ²_{общ} или Мест неоп_{вин}): *злокобен мрак се сбираше Бетховену в душата — сбираше се в душата на Бетховен, трябва да надникнеш в душата някому — надникнеш в душата на някого*.

Как уже было сказано, в случае существительных, не сохранивших формы дательного падежа, т. е. в подавляющем большинстве случаев, дативные и генитивные по значению глагольно-субстантивные словосочетания формально не различаются, они строятся с помощью предлога *на* и общего падежа обоих существительных — Гл + Сущ¹_{общ} + на + Сущ²_{общ}: *стискат ръцете на кондуктора, целуна ръката на жената, подрязват гривите на конете си, (мъка) късаше сърцето на Мито, простреля фуражка на младежа, разваляше настроение на всички*.

То же относится к словосочетаниям, включающим в свой состав второй предлог — в, т. е. Гл + в + Сущ¹_{общ} + на + Сущ²_{общ}: *пада в краката на стареца, пълна (човека) в устата на вълка, погледна в очите на брата си*.

Если на месте второго существительного стоит неопределенно-личное местоимение *някой*, то оно может употребляться не только в дательном

³ В данном примере местоименная клитика *ми* непосредственно примыкает к существительному *ръка*. При наличии у существительного согласованного определения она может предшествовать определяемому существительному, но должна в таком случае обязательно следовать за согласованным определением к нему: *гладеше гиздавата му грива* (см. [9]).

беспредложном, но и в винительном падеже с предлогом *на*: *изваждам дума на някого, подрезвам крилете на някого*.

В болгарском языке возможно одновременное употребление и притяжательного местоимения, и датива личного местоимения, например, *и поправяше настроение си*. Ср. аналогично чешск. *roganil mi mé naděje*, срх. *вам олакшати ваше бреме* при ненормальности или даже невозможности русск. *ей исправил ее настроение* и пр.

Известно, что во всех балканских языках для кратких дативных форм личных местоимений характерна очень большая употребительность. Это в полной мере относится и к болгарскому языку, где *ми, ти, му, ѝ, ни, ви, си* чрезвычайно частотны и употребительны. Ряд исследователей отмечает, что болгарские краткие падежные формы личных местоимений имеют тенденцию утрачивать свое первоначальное лексическое значение; дальнейшее развитие может превратить их в чисто служебные морфемы. Поэтому краткие дативные и аккузативные формы личных местоимений называются здесь падежными формами весьма условно и лишь по традиции — в современном болгарском языке они выступают скорее как аффиксы, привносящие в значение управляющего слова дополнительное значение посессивности (см. [10—13]).

Подводя итог, следует повторить, что о переразложении интересующих нас глагольно-именных словосочетаний с дательным двойной зависимости в болгарском языке можно говорить лишь весьма условно, так как форм дательного падежа существительных в современном языке осталось очень немного, и в подавляющем большинстве случаев значения родительного и дательного падежей одинаково выражаются с помощью предлога *на* и общего падежа существительного. В современном болгарском языке посессивный дательный продолжает существовать и широко употребляется только в области личных местоимений. Но и это лишь сфера энклитических местоименных форм, которые в этом значении больше походят на постпозитивный аффикс со значением посессивности, чем на слово в косвенном падеже.

Синтаксические дублеты рассмотренного нами типа в болгарском языке встречаются нечасто. Надо полагать, что процессы переразложения, обусловившие их появление, уже закончились. Они происходили в эпоху разрушения падежной системы имени, замены синтетических форм падежа предложными словосочетаниями и других процессов аналитической перестройки болгарского языка (см. [14, 15]).

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Грамматика русского языка. Т. II. Синтаксис, ч. I. М., 1954.⁹
Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970.
Прокопович Н. Н. Словосочетание в современном русском литературном языке. М., 1966.
Андрейчин Л. Основна българска граматика. София, 1944.
Попов К. Съвременен български език. Синтаксис. София, 1963.
Стевановић М. Савремени српскохрватски језик, II. Синтакса. Београд, 1974.
Лалевић М. Синтакса српскохрватског књижевног језика. Београд, 1962.
Klęmensiewicz Z. Zarys składni polskiej. Warszawa, 1957.
Szober St. Gramatyka języka polskiego. Warszawa, 1947.
Kopečný Fr. Základy české skladby. Praha, 1962.
Smilauer V. Novočeská skladba. Praha, 1969.
Речник на съвременния български книжовен език, I—III. София, 1955—1959.
Български тълковен речник. София, 1976.
Бернштейн С. Б. Болгарско-русский словарь. М., 1975.
Речник српскохрватског књижевног језика, књ. I—IV. Нови Сад — Загреб, 1967—1973.
Сербско-хорватско-русский словарь. Составил И. И. Толстой. М., 1958.
Doroszewski W. Słownik języka polskiego. Warszawa, 1958.
Słownik frazeologiczny języka polskiego, I—II. Warszawa, 1967.
Павлович А. И. Чешско-русский словарь. М., 1976.
Трбвићек Fr. Slovník jazyka českého. Praha, 1952.

1. *Bally Ch.* L'expression des idées de sphère personnelle et de solidarité dans les langues indoeuropéennes. — In: Festschrift L. Gauchat. Aarau, 1926.
2. *Вольф Е. М.* Грамматика и семантика местоимений. М., 1974.
3. *Журильская М. А.* О выражении значения неотторжимости в русском языке. — В кн.: Семантическое и формальное варьирование. М., 1979.
4. *Wierzbicka A.* Ethnosyntax and the philosophy of grammar. — In: Studies in language, v. 3, № 3. Amsterdam, 1979.
5. *Писаркова К.* Посесивность как грамматическая проблема (на материале польского языка). — В кн.: Грамматическое описание славянских языков. М., 1974.
6. *Головачева А. В.* Идентификация и индивидуализация в анафорических структурах. — В кн.: Категория определенности — неопределенности в славянских и балканских языках. М., 1979.
7. *Gallis A.* Sintaksičke dublete u srpskohrvatskom: ljubiti kome ruku — ljubiti koga u ruku, ljubiti kome u ruku. Universitetet i Oslo, Slavisk-baltisk Institutt, Meddelelser, 1978, № 14.
8. *Пешковский А. М.* Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956, с. 301.
9. *Цыхун Г. А.* Синтаксис местоименных клитик в южнославянских языках. Минск, 1968.
10. *Тагамлицкая Г.* Някои особености в употребата на местоименията в руски и български език. — В кн.: Славянска филология. Т. III Езикознание. София, 1963.
11. *Тагамлицкая Г.* О развитии некоторых значений дательного падежа в русском и болгарском языках. — В кн.: Езиковедско-этнографски изследвания в памет на акад. Стоян Романски. София, 1960.
12. *Чолакова Кр.* За граматикализацията на някои лексеми и лексеми-форми. — В кн.: Славистичен сборник. София, 1978.
13. *Чолакова Кр., Иванова К.* Залогът като граматична и лексикографска проблема. — В кн.: Славянска филология. Т. XII Езикознание. София, 1973.
14. *Мицчева А.* Развой на дательния притежателен падеж в българския език. София, 1964.
15. *Дуриданов Ив.* Към проблемата за развой на българския език от синтетизъм към аналитизъм. — Годишник на Софийския у-т, филологически ф-т, т. LI, № 3. София, 1956.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ АЛБАНСКОЙ ИМЕННОЙ ФЛЕКСИИ В СВЕТЕ СЛАВЯНСКИХ И ДРУГИХ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ДАННЫХ

Задача настоящей работы — анализ форм албанского склонения и объяснение происхождения этих форм. Сразу же заметим, что речь пойдет почти исключительно о флексии неопределенного склонения существительных; важную и чрезвычайно сложную проблематику определенного склонения мы надеемся рассмотреть особо. Кроме того, за пределами статьи остаются второстепенные с точки зрения интересующей нас темы аспекты неопределенного склонения (вопросы образования некоторых вторичных форм множественного числа, являющихся более или менее очевидными албанскими инновациями: мн. число на -га, -пј(ë) и под.), а также местоименное склонение, подробно освещенное в [1], и формообразование прилагательного (изменяющегося в албанском лишь по роду и числу).

Система индоевропейского склонения отразилась в албанском в ощутимо перестроенном виде, что значительно затрудняет исследование происхождения отдельных элементов албанской именной флексии. Если исходить из традиционной индоевропейской морфологической реконструкции, в албанском не только сократилось число падежей, но и исчезли целые типы склонения (основы на согласный и на сонанты), произошли фонетические изменения, затемнившие и преобразовавшие исходные парадигматические ряды и отдельные формы, а в ряде случаев и приведшие к омонимии флексий. С другой стороны, в албанском развились инновации, пронизывающие все склонение в целом: это прежде всего противопоставление форм по определенности — неопределенности. Значительно изменилась и семантико-грамматическая характеристика падежей, сохранившихся от индоевропейского состояния.

Анализ проблемы мы начнем с последовательного рассмотрения падежных окончаний прямых (номинатива и аккузатива), а затем — косвенных падежей.

П р я м ы е п а д е ж и

У имен, продолжающих индоевропейские *o-* и *ā-*основы, ном. ед. ч. представлен, соответственно, нулевым окончанием и окончанием *-ë*, ср. *ujk* 'волк' < *ulk^wo-*, слав.* *уьлкъ*, греч. *λύκος*, *mal* 'гора' < **molō-*, *dëgë* 'ветка' < **d(u)oighā*, *májë* 'вершина' < **moljā*. Формы индоевропейского среднего рода (*o-*основы) в ед. ч. не сохранились (реликты ср. рода находим лишь в сингуляризованных формах мн. числа *resp.* собирательных образованиях на *-ë* < **-ā*, типа *újë* 'вода'¹). Поскольку *ë* —

¹ См. [2], а также [3]. Детальный семантико-грамматический анализ этих реликтов в аспекте истории албанского см. [4, 5].

это нормальный рефлекс безударного раннеалб. *а (из и.-е. *а, *о, *э), для им. пад. ед. числа устанавливается сокращение конечных гласных, говоря условно, на одну мору² (здесь и далее мы особо не оговариваем падение конечных согласных и групп согласных, не знавшее в албанском исключений; заметим также, что наличие или отсутствие согласного в ауслауте не оказало сколько-нибудь заметного влияния на развитие гласных в албанской флексии).

Аккузатив ед. числа в албанском совпал с номинативом, однако не вызывает особых сомнений то, что в вин. пад. о-основ отразился индоевропейский вин. пад. на *-om, а в аккузативе ā-основ — вин. пад. на *-ām. Совпадение форм номинатива и аккузатива было обусловлено одинаковой трактовкой количества в гласных элементах флексии.

Номинатив мн. числа женского рода выступает в двух основных разновидностях: -ë, например, k^gé^gë от k^géуе 'голова', и -а, например, déga от dégë 'ветка'. Оба варианта флексии обычно возводятся к единому источнику — и.-е. *-ās (им. пад. мн. числа ā-основ). Это решение, впервые предложенное Г. Мейером [7, S. 97], представляется оптимальным. Вместе с тем заслуживает внимания тот факт, что, если в случае -ë < *-ās мы имеем дело с уже известным нам соотношением, то в -а < *-ās также отражено сокращение конечной долготы, но без последующей редукции гласного.

Формы им. пад. мн. числа муж. рода представлены следующими основными типами: 1. -е, например, mále от mal 'гора'. Это -е было истолковано Г. Мейером [7, S. 96] как рефлекс инновационного и.-е. *oi, проникшего из местоименного склонения (ср. слав. *vylci, лит. vilkaĩ, лат. Iurĩ, греч. λόχοι). Однако в албанистике возобладала иная точка зрения: согласно Педерсену и Йоклю, -е восходит к номинативу мн. числа ā-основ — *-ās, ср. [6, f. 53]. Эта гипотеза вызывает недоумение, поскольку *-ās, подвергнувшись сокращению, могло дать только -а/-ë; в том же случае, если бы сокращение не было проведено, следовало бы ожидать алб. о. Оснований предполагать качественные изменения в ауслаутных гласных в албанском нет. Поэтому остается вслед за Г. Мейером признать источником -е и.-е. *oi и, наряду с *oi, также и более старую, основную форму индоевропейского номинатива мн. числа *-ōs. Не испытав сокращения, *oi и *-os в равной мере могли служить прототипом алб. -е. 2. Другое окончание мн. числа муж. рода -ë, ср. shókë от shok 'товарищ'. Оно также толкуется как продолжение *-ās, в чем нет никакой необходимости, поскольку -ë хорошо может быть объяснено и из *-ōs, пережившего развитие в -ë через стадию краткого *-a. 3. Особое место занимают формы им. пад. мн. ч. муж. рода с нулевым окончанием, многие из которых отмечены умлаутом корневого гласного (desh от dash 'баран') и чередованием согласного в исходе основы (заднеязычный : палатальный, ср. pleq от plak 'старик'). Как умлаут, так и чередование k : q, g : gj прямо указывают на то, что флексия первоначально содержала -i-; в этом случае окончание должно восходить к и.-е. *oi, о котором см. выше. Развитие *oi в данном случае аналогично предыстории -ë < *a < *-ā и состояло из сокращения дифтонга и редукции *-i в ноль звука. Гипотеза о развитии *oi > Ø, в имени и глаголе через промежуточную стадию долгого *ī [6, f. 51] не подтверждается другими фактами албанской исторической морфологии: маловероятны монофтонгизация *oi в узкий гласный (как правило, *oi > e) и редукция долгого *ī до нуля звука.

Вин. пад. мн. числа всюду совпал с номинативом, что в большинстве случаев объяснимо тождественными процессами в развитии окончаний. Вместе с тем ясно, что такое толкование не может быть распространено на формы с умлаутом и чередованием заднеязычных и палатальных. Здесь налицо выравнивание парадигмы мн. числа по номинативу, обусловленное многочисленными совпадениями им. и вин. пад. мн. и ед. числа.

² В связи с этим Ш. Демирай [6] высказывает мысль о роли «механически фиксированного» ударения, возникновение которого он, вслед за Н. Йоклем, относит к римской эпохе.

Начнем с мн. числа, где соотношения более прозрачны. Показатель аблатива мн. числа *-sh* еще Боппом [8] был возведен к индоевропейскому локативу на **-su*, ср. слав. **vьsѣхъ*, скр. *vŕkesu*, греч. *λύχοισι*. На первый взгляд, возникающие фонетические сложности кажутся неустрашимыми, поскольку в интервокальной позиции в албанском и.-е. **-s* должно было бы развиваться в *-h* ($\text{>}\emptyset$). Однако, тот факт, что эволюция **s > sh* наблюдается в тех грамматических классах (индоевропейском локативе и сигматическом аористе типа *dháshē* 'я) дал', где тот же переход (в **x ~ *š*) по чисто фонетическим причинам имеет место в славянском, как будто подсказывает возможное объяснение. Несмотря на скудость материала, мы можем констатировать для албанского переход **s > sh* 1) после **i* в аблативе **-oisu > -esh* (прочие случаи, как и применительно к славянскому локативу, позволительно объяснить грамматической аналогией) и в лексемах типа *mish* 'мясо' \leftarrow **memso-* (где очень рано **eN* перед **s* дало **i*, как в армянском); 2) после **u* в лексемах типа *kush* 'кто'; 3) после **k* с выпадением последнего, что подтверждается рядом примеров, ранее понимавшихся как доказательство перехода сочетания **ks* в *sh* (см. [9, s. 40]). В сочетании **-rs-* имело место регулярное развитие **s* в *h*, далее **-rh > rr*. Малое число примеров и тот факт, что албанский знает также переход **-sj- > -sh-*, отграничить который от нашего случая сложно (ср. ошибочную попытку объяснить албанский аблатив из **-sī* [1, с. 88]), все же не могут помешать формулировке следующего правила: в албанском и.-е. **s* в позиции перед гласным (включая слоговые сонанты) после **i*, **u*, **k* развивалось в *sh*. Последствия этого правила для ареальной характеристики албанского представляются нами весьма важными ввиду того, что сходный процесс был пережит в славянском, балтийском и индоиранском, причем позиционные условия этого перехода в албанском ближе всего к известной ситуации в славянском.

В свое время Пизаниа предпринял попытку истолковать форму на *-sh* в функции генитива как отражение местоименного род. падежа на **-sōm*, опираясь преимущественно на то соображение, что использование местного падежа как родительного семантически маловероятно, см. [10, p. 104, а также 11, s. 42]. Не вдаваясь в существо проблемы (о возможных связях пространственно-локативной и генитивной семантики см. [12]), заметим, что значения род. падежа развились не непосредственно из локативных, а на фоне собственно албанской аблативной семантики. Предположение о втором *-sh < *-sōm* избыточно. Оно наталкивается и на фонетические препятствия, так как требуется объяснить нулевую рефлексия долгого гласного.

Ряд аблативных форм в албанском не может непосредственно объясняться из индоевропейского локатива, поскольку тематический гласный в албанской парадигме мн. числа испытал подравнивание под им.-вин. падеж. То же касается и род.-дат. падежа мн. числа.

Нам известны следующие объяснения показателя род.-дат. падежа мн. числа *-ve*: 1. Генитив о-основ **-ōm*, из которого непосредственно выводится предположительно более старый вариант *-e*. Тогда *-ve* трактуется как результат вставки, устраняющей хиатус, или как отражение регулярной протезы *v-* перед и.-е. **ō* [13, s. 26; 6, f. 71] (однако такая протеза албанскому неизвестна (см. [14]). 2. Датив-аблатив **-bh(i)os*, (см [15, S. 37; 10, p. 105]). Это объяснение затруднительно, так как заставляет предполагать необычное развитие алб. *e* из и.-е. **o*. К тому же переход **bh* в *v* возможен только в интервокальной позиции перед исконным ударением [16], а такая позиция в данном случае не слишком вероятна. 3. Инструменталис **-ōis* с допущением протетического *v-* [6, f. 71]. О протезе см. выше; сомнительно и единичное в албанской парадигме сохранение оруд. падежа. 4. Генитив и-основ **-uom* [17], что вызывает трудности в трактовке вокализма.

Представляется, что допущение *-e < *-ōm* полно объясняет происхождение этого варианта. Что касается *-ve*, то оно удачно истолковано

П. Скоком. Реконструкция **-d̥om* из утраченных албанским *u*-основ позволяет искать следы *u*-основ и в парадигме ед. числа (см. ниже). Вместе с тем, сходный процесс известен в славянском, где продолжающее ту же индоевропейскую форму окончание **-ovъ* также проникло в *o*-основы. Долгий вокализм, отраженный албанским *-ve* следует понимать как результат воздействия параллельной формы на *-e* < **-om*.

В ед. числе косвенные падежи совпали в муж. роде в *-i/-u*, в жен. роде — в *-e*. Окончание *-e* безусловно продолжает датив-локатив *ā*-основ **-āi* [6, f. 68]. Оснований для возведения *-e* к **-iās* [11, f. 26] нет. Неясности в судьбе так называемых «долгих» дифтонгов в албанском не позволяют определенно решить вопрос о промежуточных этапах развития **-āi* (непосредственно в *-e* или через стадию «краткого» дифтонга).

Весьма сложна проблема окончания *-i/-u*. Соотношение *-i* (как немаркированного члена оппозиции) и *-u* (как маркированного члена, только после заднеязычных и гласных) охватывает, помимо косвенных падежей ед. числа неопределенного склонения, также и парадигму определенного склонения. Сходные явления, которые нежелательно отделять от фактов именного словоизменения, наблюдаются и в глаголе. Отсюда следует неприемлемость чисто фонетических объяснений, сводящих *-u* к *-i*, ср. истолкование *-u* как рефлекса **-vi*, якобы возникшего в результате устранения зияния между *-i* и ауслаутным гласным основы, см. [18, f. 26]. Сочетанием морфологических и фонологических аргументов обращает на себя особое внимание предложенное А. В. Десницкой объяснение *-u* как фонологизированного дополнительного артикуляционного признака заднеязычных. Возникновение последнего связывается с тенденцией к сохранению целостности парадигматического облика слова, которая была бы неминуемо нарушена в формах, допускающих сочетание заднеязычного и *-i* [19]. По поводу этой весьма убедительной концепции А. В. Десницкой следует, однако, заметить, что целостность основ на заднеязычный уже была частично устранена в формах мн. числа, где веларные палатализовались. Обсуждение этого вопроса затруднено весьма нечеткой относительной хронологией албанской словоизменительной системы.

Оставляя в стороне проблему *-i/-u* в глаголе (о чем см. [20, S. 312—313; 19, с. 85—88]), можно полагать, что описываемое явление, некогда охватывавшее меньшее число случаев, распространилось благодаря аналогическим и морфонологическим процессам (о роли аналогии в истории *-i/-u* см. [21, S. 11]). Наша задача — найти исходный круг форм, знавших распределение *-i/-u*, и дать им сравнительно-историческое объяснение.

Как правило, в попытках объяснить *-i/-u* морфологически исследователи исходят из парадигмы определенного склонения ед. числа. Однако такое решение заводит в тупик, как только встает вопрос о сравнительно-исторической интерпретации. Поскольку определенное склонение ед. числа содержит постпозитивное индоевропейское указательное местоимение, это решение требовало бы предположить, что определенное склонение сформировалось при участии двух различных указательных местоимений, одно из которых, в им. пад. ед. числа развилось в алб. *-u*. Это типологически и фонологически маловероятно. Даже если принять довольно шаткое допущение о двояком источнике постпозитивного местоимения, придется пойти на ошибочные фонетические построения, так как среди индоевропейских указательных местоимений нет такого, которое могло бы развиться в алб. *-u* (мысль Барича о *u* < **o* в *univerbatia* высказана как раз в связи с его попыткой вывести *-u* из **so* и ничем не подтверждается, ср. [13, s. 24]).

Следовательно, источником оппозиции *-i/-u* были косв. падежи неопределенного склонения. При этом в объяснении *-i* желательно следовать не за Педерсеном (< датив **-ōi*, что сомнительно фонетически и заставляет постулировать в албанском единичный случай, отражения датива), а за старым толкованием Торпа (< локатив **-ei*; локатив представлен и в парадигме мн. числа)³. Что касается *-u*, то (так же, как в **-d̥om* род. пад.

³ Точки зрения Педерсена и Торпа цит. по [6, f. 68].

мн. числа) оно отражает окончание *u*-основ, именно — род. падеж *-eus/*-ous. После того, как современное соотношение *-i/-u* закрепилось в неопределенном склонении, оно распространилось и на определенное (на косвенные падежи, а затем и на прямые).

Вопрос заключается в том, как осуществился переход от этого реконструируемого состояния к наблюдаемому. Здесь приходится пока ограничиваться лишь гипотетическими построениями. Надо полагать, что начальной точкой этого процесса были старые *u*-основы, содержавшие задержанный, причем распространение их могло быть обусловлено факторами, описанными в [49].

ЛИТЕРАТУРА ⁴

1. *Орел В. Э.* Личные местоимения в албанском языке в сопоставлении с личными местоимениями в славянских и других индоевропейских языках. — Советское славяноведение, 1980, № 5.
2. *Pedersen H.* Das albanesische Neutrum. — KZ, 1897, Bd. 34.
3. *Demiraj Sh.* Çështje të sistemit emëror të gjuhës shqipe. Tiranë, 1972.
4. *Десницкая А. В.* Категория собирательности и категория массы в истории албанского языка. — В сб.: Вопросы грамматического строя балканских языков. Л., 1976.
5. *Десницкая А. В.* «Средний род» или категория «определенной массы»? — В кн.: Балканский лингвистический сборник. М., 1977.
6. *Demiraj Sh.* Morfologjia historike e gjuhës shqipe, pj. 1. Tiranë, 1973.
7. *Meyer G.* Albanesische Studien. I. — Sitzungsberichte der Akad. der Wiss. Wien, Bd. 104.
8. *Bopp F.* Über das Albanesische in seinen verwandtschaftlichen Beziehungen. Gelesen in der Königl. Akad. der Wiss. am 18. Mai 1854. Berlin, 1855.
9. *Mann St. E.* The Indo-European Consonants in Albanian. — Language, 1952, v. 28, № 1.
10. *Pisani V.* Saggi di linguistica storica. Torino, 1959.
11. *Bariç H.* Нумје në historinë e gjuhës shqipe. Prishtinë, 1955.
12. *Орел В. Э.* Исконная лексика албанского языка (Балканские этимологии 6—13). — В кн.: Славянское и балканское языкознание. М., 1983 (в печати).
13. *Bariç H.* Istorija arbanašskog jezika, Sarajevo, 1959.
14. *Орел В. Э.* Состав и характеристика субстратного апеллативного фонда балкано-славянских языков. Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1981.
15. *Meyer G.* Albanesische Studien. III. — Sitzungsberichte der Akad. der Wiss. Wien, 1892, Bd. 125.
16. *Орел В. Э.* Вопросы сравнительно-исторической грамматики албанского языка. — В кн.: Славянское и балканское языкознание. Проблемы языковых контактов. М., 1982.
17. *Skok P.* Considérations générales sur la déclinaison nominale roumaino-albanaise. — Архив за арбанаску старину, језик и етнологију, 1926, т. 3, № 1—2.
18. *Riza S.* Emrat në shqipe. Sistemi i rasavet dhe tipet e lakimit. Tiranë, 1965.
19. *Десницкая А. В.* Морфонологические процессы в образовании вторичной флексии в албанском языке. — В кн.: Звуковой строй языка. М., 1979.
20. *Pedersen H.* Die Gutturale im Albanesischen. — KZ, 1900, Bd. 36.
21. *Pedersen H.* Le groupement des dialectes indo-européens. — Det Kal. Danske Vid. Selskad. Hist.-filol. Meddelelser, 1925, v. 11, № 3

⁴ Лишь после окончания работы над данной статьей нам стало известно о выходе книги Б. Бокши на смежную тему. К сожалению, ее материал уже не мог быть использован. См. *Bokshi B.* Rruge e formimit të fleksionit të sotëm nominal të shqipëz. Prishtinë, 1980.



Г. ДИМИТРОВ И ЛЕЙПЦИГСКИЙ ПРОЦЕСС В МАТЕРИАЛАХ НОВОЙ ПУБЛИКАЦИИ ДОКУМЕНТОВ

Почти 50 лет минуло со времени Лейпцигского процесса — одного из крупнейших политических процессов XX в., но все новые факты показывают, что он принадлежит не только прошлому. События, связанные с ним, отразили главное, узловое противоречие того времени — наступление германского фашизма, использовавшего широкий арсенал незаконных, насильственных средств, включая ловко подстроенную провокацию, с одной стороны, и антифашистскую массовую борьбу трудящихся, вылившуюся, в частности, в колоссальную по своим масштабам международную кампанию солидарности с коммунистами, обвиненными в поджоге рейхстага. Особое место в этих событиях принадлежало Г. Димитрову — деятелю болгарского и международного рабочего и коммунистического движения, столетие со дня рождения которого отмечается в июне 1982 г.

Но поход реакции против демократии и прав человека, хотя и в других формах, под видоизмененными лозунгами, продолжается и в современных условиях, и вопросы организации отпора ей остаются актуальными по сей день. Именно острота и современное звучание проблем, всколыхнувших весь мир в дни подготовки фашистского судилища и его проведения, постоянно возвращают к нему внимание политических деятелей, публицистов, историков, писателей, причем как сами события, так и их подоплека являются предметом различных интерпретаций. Буржуазные политики и идеологи замалчивают или сознательно искажают правду, пытаются уменьшить или вовсе снять вину с гитлеровцев за провокационный поджог рейхстага и террор против рабочих. Уменьшается или вообще обходится молчанием роль Г. Димитрова на процессе. В этом отношении характерна атмосфера вокруг решения Окружного суда Западного Берлина, который в декабре 1980 г., пересмотрев в очередной раз по заявлению родственников Ван дер Люббе приговор имперского суда в Лейпциге, вынес постановление о посмертном оправдании Ван дер Люббе. Основанием послужило заключение о том, что дело велось с процессуальными ошибками, а мотивы приговора были явным извращением права [1, 17 IV]. По мнению некоторых юристов казенного следовало судить только как поджигателя здания. При этом ни слова о том, что Ван дер Люббе был орудием в руках нацистов, что жизнь Г. Димитрова и его товарищей была в опасности. Болгарский обозреватель отмечает, что в обильных комментариях буржуазной газеты «Франкфуртер Рундschau» по поводу пересмотра приговора имя Г. Димитрова ни разу не было упомянуто [1, 20 IV].

Между тем какой-либо разговор о Лейпцигском процессе без Г. Димитрова принципиально невозможен: он был, по существу, его главным действующим лицом, стремившимся повернуть рассмотрение дела в нужном и единственно правильном для защиты коммунистов направлении; ему принадлежала и весьма активная роль в ходе тенденциозно ведшегося предварительного следствия.

Все это с полной очевидностью показали документальные материалы, уже введенные в разные годы в научный оборот. Все это подтверждает, углубляя и расширяя наши знания, публикация, недавно предпринятая коллективом историков СССР, ГДР и НРБ, под названием «Процесс о поджоге рейхстага и Георгий Димитров. Документы в трех томах» — самая значительная и масштабная из всех имеющихся подборка документов из архивов трех стран, дающая разностороннее представление о событиях, связанных с Лейпцигским процессом. В подготовке этого чрезвычайно актуального в политическом и научном отношении издания участвуют ИМЛ при ЦК КПСС, Институт марксизма-ленинизма при ЦК СЕПГ, Институт истории БКП при ЦК БКП. В 1981 г. в каждой из названных стран вышел на соответствующем языке первый том публикации¹, в который включены документы за период с 27 февраля по 20 сентября 1933 г., т. е. с момента нацистской провокации до начала суда в Лейпциге. Оригинальным считается немецкое издание, поскольку преобладающая часть материалов на немецком языке. Выявление документов, их археографическая обработка и комментирование потребовали напряженного, длительного (почти восемь лет) труда международного коллектива. В том включен 361 документ, и почти все они публикуются впервые. Это вновь открытые материалы из архива имперского суда, архивов гестапо, министерства внутренних дел, верховного прокурора и т. п.

Остановимся на некоторых наиболее важных темах, освещенных в документах тома.

Одна из них — обстановка в Германии после утверждения 30 января 1933 г. на посту рейхсканцлера Гитлера, стремившегося на протяжении последующих месяцев укрепить свою власть, превратить ее в неограниченную. В острой схватке между силами реакции и рабочим классом, в которой решался вопрос, будет ли свергнута власть фашистов или произойдет ее укрепление, поджог здания германского парламента играл ключевую роль: для интенсификации похода против демократии, против рабочего класса и КПП гитлеровцам нужен был значимый и конкретный повод. Провокационный, заданный характер поджога рейхстага отчетливо проступает из впервые публикуемой радиогаммы начальника отдела политической полиции полицей-президиума Берлина, в которой говорилось о якобы запланированных коммунистами в связи с предстоящими выборами в парламент нападениях на полицейские патрули и служащих национальных формирований с целью их разоружения с применением стрелкового, рубящего и колющего, а также вспомогательного оружия всех видов, в связи с чем предписывалось «немедленно принять надлежащие контрмеры», а «в случае надобности произвести аресты коммунистических деятелей» (док. 1). Предписание адресовалось полицейским властям Пруссии и было послано 27 февраля 1933 г. в 18 час. 15 мин., а затем повторено в 18 час. 22 мин., т. е. в обоих случаях примерно за три часа до начала пожара.

А затем последовала серия «превентивных мер» против коммунистов, против рабочего класса и всех антифашистов. 28 февраля 1933 г. на пограничные пункты была направлена радиогамма с требованием воспрепятствовать въезду из страны руководящих деятелей и депутатов КПП и арестовать их (док. 8). Было издано распоряжение о немедленной конфискации коммунистических и социал-демократических печатных изданий, о запрещении в столице собраний КПП и примыкающих к ней организаций (док. 9). В тот же день был опубликован «Указ рейхсканцлера о защите народа и государства» (док. 10), которым отменялись гарантированные конституцией демократические права и объявлялось наказание смертной казнью за деятельность, направленную против фашистского государства.

¹ Состав редакционной коллегии всего издания: Г. Беряггард, Д. Елазар (главный редактор), Е. Кабакчиева, Д. Кунина, П. Раденкова (ответственная за издание на болгарском языке), Л. Роте (ответственная за издание на немецком языке), К. Шириня (ответственный за издание на русском языке). Выходные данные советского издания см. [2].

На основании этого указа и закона от 23 марта 1933 г. о чрезвычайных полномочиях правительства, в том числе его праве издавать законы, изменяющие конституцию, принимались новые чрезвычайные меры. Среди них — «Закон о применении смертной казни» от 29 марта 1933 г. (док. 64) со статьей об обратной силе закона на период с 31 января по 28 февраля 1933 г. Разрешилось также исполнение смертной казни путем повешения. 4 апреля 1933 г. был принят «Закон о защите против актов политического насилия» (док. 78), расширявший применение смертной казни и пожизненного тюремного заключения, в том числе за такие деяния, как «преступное и общеопасное» использование взрывчатых веществ. Наказанию подвергался каждый, «кто поджигает и взрывает строение, служащее общественным целям..., или совершает поджог или взрыв с намерением вызвать страх или панику у населения».

Таким образом, используя провокационный поджог, Гитлер сумел в течение нескольких месяцев сосредоточить в своих руках практически всю полноту власти, кардинально изменить политическую жизнь страны. Казалось бы, непосредственная цель была достигнута. Но гитлеровцы стремились извлечь из провокации и политический капитал, тем более, что в их руки попали коммунисты руководящего состава, которых они намеревались раздавить на процессе, представить в виде авантюристов и террористов, развенчать морально и политически. Физическая расправа с ними, включая возможность смертной казни через повешение, была уже обеспечена принятыми законами.

Началась организация тенденциозного следствия и процесса. Нежелательные свидетели устранялись. Насколько контролировалась высшими нацистскими кругами подготовка судебного разбирательства, в том числе его техническая сторона, видно из того, что при решении, например, вопроса о допущении на процесс двух советских корреспондентов обращались непосредственно к Гитлеру (док. 331 и 349).

Как известно, затеянная нацистами грязная игра лавров им в ходе Лейпцигского процесса не принесла. Одной из существенных причин их политического провала был поистине международный характер широчайшей кампании протеста, охватившей почти все страны. Эта тема нашла в документах тома наиболее полное, чем когда-либо прежде, отражение. Начиная с воззвания коммунистической фракции ландтага Саксонии, изданного в виде экстренного листка уже 28 февраля 1933 г. (док. 18), антифашисты всех стран расценивали пожар в рейхстаге, как «наглую, заранее подготовленную провокацию» с целью развязывания террора против коммунистов и рабочего класса Германии, разоблачали ее организаторов. «Правда» писала 1 марта 1933 г.: «Ни один человек в Европе не поверит, что коммунистическая партия или даже какая-то ее незначительная часть в момент, когда фашисты только ожидали сигнала для погрома, займется таким делом, как поджигание публичных зданий. Не коммунистам, а фашистам нужно было убрать рейхстаг. Для достижения своих погромных целей фашисты не остановились перед тем, чтобы превратить рейхстаг в пепелище» (док. 24).

После того, как 9 марта 1933 г. Г. Димитров, Б. Попов и В. Танев по доносу были арестованы в качестве будто бы сообщников поджигателя Ван дер Люббе, кампания протеста против провокаторов перешла в новую стадию; началась борьба за снятие нелепых обвинений с коммунистов, за спасение их жизни. 29 апреля 1933 г. ИК МОПР обратился в ЦК Красной помощи Югославии с призывом начать кампанию защиты арестованных (док. 112). 9 мая Политическая комиссия Политсекретариата ИККИ приняла решение о создании комиссии во главе с Б. Куном для руководства кампанией в защиту Г. Димитрова и других политических заключенных в Германии (док. 119). Воззвания и решения Коминтерна, коммунистических партий Европы, Азии и Америки, МОПР, Профинтерна, КИМ сыграли важную роль в борьбе за спасение арестованных коммунистов. Кампания приобрела действительно всемирный размах. В ходе ее возникли новые оригинальные и действенные формы — проведение контрпроцесса и издание «Коричневой книги о поджоге рейхстага и гитлеровском тер-

поре». Благодаря разоблачительной кампании всему миру была очевидна непричастность болгарских коммунистов к поджогу.

Гитлеровцы в связи с этим проявляли нервозность. Они потребовали у правительств Нидерландов и Франции запрещения проводить в их странах контрпроцесс и добились этого (контрпроцесс был проведен в Лондоне). Ряд документов публикации свидетельствует о постоянном заинтересованном внимании нацистов к информации о формах и содержании международной кампании.

Специально следует сказать о такой теме документального сборника, как жизнь и борьба Г. Димитрова в заключении. Многомесячное пребывание в тюрьме — особый и очень важный период в жизни Г. Димитрова. Это было время, когда в одиночной камере 50-летний коммунист думал о прожитой жизни, о своем пути профессионального борца-революционера. Над ним нависла реальная угроза смерти, но, размышляя над смыслом всего происшедшего с ним лично, Г. Димитров старался поставить это в связь с событиями в Германии, старался до конца понять сущность фашизма и его истоки, значение прихода фашистов к власти в Германии для этой, да и не только для этой страны.

Информация, получаемая Г. Димитровым в тюрьме о событиях на воле, была довольно скудной: из печатных источников он мог пользоваться только некоторыми буржуазными газетами. Естественно, Г. Димитров стремился узнать как можно больше о том, что происходит на его родине, но ему не разрешили получать даже правительственные болгарские газеты (док. 328). Единственное, что он мог иметь без ограничения — книги из тюремной библиотеки по истории Германии, и он широко использовал эту возможность. Наблюдения, сделанные Г. Димитровым при изучении немецкой литературы, помогли ему лучше разобраться в природе нацизма как самой реакционной разновидности фашизма. Одновременно его глубоко интересовали сходные процессы в Болгарии. Это видно из списка литературы, которую Г. Димитров хотел получить от матери и сестры (док. 120): кроме новых книг по истории Болгарии, о ее участии в Балканских и мировой войнах, об экономическом и политическом положении страны, он просил прислать ему также журнал «Звезда», в котором помещались материалы, характеризовавшие болгарский фашизм, его особенности, направление развития. Среди указанных Г. Димитровым авторов — А. Цанков, лидер болгарских фашистов. Правда, разрешения на получение книг из Болгарии Г. Димитрову не дали.

Следствие не имело связного представления о масштабе и характере нелегальной деятельности Г. Димитрова в Германии, не было известно о его участии во многих крупных совещаниях и встречах представителей коммунистических партий, равно как и то, что Г. Димитров был руководителем Западноевропейского бюро ИККИ. И нащупать сколько-нибудь определенно связи Г. Димитрова нацистам не удалось: он твердо держался линии, что занимался только вопросами болгарской компартии, а в плане международном — стремился привлечь внимание общественного мнения к кампании за политическую амнистию в Болгарии. Впервые публикуемые в настоящем сборнике протоколы допросов пестрят заявлениями Г. Димитрова: «точные сведения об этом я не хочу давать», «я напишу то, что считаю необходимым для выяснения самого дела», «я больше ничего не скажу», «я не даю сведений о других лицах», «где я тогда жил, я не скажу, так как не хочу доставлять неприятности людям, у которых я проживал» и т. п. (док. 38, 49, 51, 75 и др.).

С самого начала следствия Г. Димитров занял не оборонительную, а наступательную позицию. В дни, когда травля коммунистической партии Германии приобрела огромные размеры, Г. Димитров смело обратился к следователю: «... я со всей ответственностью заявляю, что, будучи известным болгарским политическим деятелем, я сам заинтересован в том, чтобы публично защищать себя перед соответствующими германскими инстанциями и отстоять свою политическую честь, которой нанесен ущерб настоящим обвинением» (док. 83).

Уже через несколько дней после ареста Г. Димитров письменно изло-

жил свою позицию по поводу событий, связанных с поджогом. Это заявление не только предельно ясно и четко, но и мужественно. «Как коммунист,— говорится в нем,— как член Болгарской Коммунистической партии и как член Коммунистического Интернационала, я принципиальный и решительный противник индивидуального террора, любых бессмысленных поджогов, каковым является поджог рейхстага, потому что такие террористические акты несовместимы с коммунистическими принципами и методами массовой работы и массовой экономической и политической борьбы и потому, что действия такого рода по сути своей только вредят освободительному движению пролетариата, делу коммунизма... По моему глубокому убеждению, пожар в рейхстаге может быть делом рук только обезумевших людей или злейших врагов коммунизма, которые этим актом хотели создать благоприятную атмосферу для разгрома коммунистического движения в Германии... С глубочайшим возмущением и протестом я отвергаю всякое подозрение в каком бы то ни было моем прямом или косвенном участии в этом со всех точек зрения предосудительном злодеянии и самым решительным образом протестую против неслыханного беззакония, которое совершили по отношению ко мне, задержав меня в связи с этим преступлением. Единственный мой проступок против германских законов заключается только в том, что я, как политический эмигрант, жил в Берлине, не регистрируясь, и под чужим именем» (док. 55).

На этой позиции Г. Димитров стоял твердо и неколебимо, подтверждая ее новым письменным заявлением от 30 мая (док. 140), давая соответствующие разъяснения назначенному фашистами адвокату и в других документах (док. 224, 326).

Тянулись бесконечной чередой дни томительного заключения. Одиночная камера, наручники, невозможность вступить в непосредственный контакт с родными, близкими, с товарищами — такова была повседневность. «Я словно лев в клетке или птица, которая имеет крылья, но не может летать!»,— обращался Г. Димитров в одном из писем к сестре (док. 227).

Все еще оставалась надежда (такая человеческая!), что все обойдется, настолько нелепо казалось Г. Димитрову обвинение в поджоге. «Должен честно признаться,— писал он там же,— что вопреки всем дурным предзнаменованиям, я до последней минуты надеялся, что меня обвиняют лишь в нарушении паспортного режима и в проживании без полицейской прописки».

Эта надежда рассеялась, когда в первых числах августа Г. Димитров получил наконец обвинительное заключение — ему вменялось в вину преступление перед государством, каравшееся смертной казнью. Это не вызвало, однако, ни деморализации, ни уныния подсудимого. Наоборот! Несмотря на серьезность положения, Г. Димитров ощутил прилив сил, жажду борьбы, ибо кончилась неопределенность, а значит наступало время действия. О боевом духе, наступательном настроении свидетельствуют строки из его писем тех дней. В одном из них он писал: «С нетерпением жду возможности опровергнуть несправедливые обвинения» (док. 237). В другом есть такие слова: «... мужество, мужество и еще раз мужество! И на всех парах вперед — несмотря ни на что!» (док. 243). В третьем — не менее характерная фраза: «...я надеюсь на лучшее. „Звезда“, я уверен, еще не перестала мне светить» (док. 325). При этом Г. Димитров не теряет чувства реальности, прекрасно понимая, что суд может и не оправдать его и его товарищей, ибо, как он сам точно выразился, «в политических процессах решающим является политическая целесообразность момента» (док. 183).

Материалы первого тома публикации позволяют воочию представить Г. Димитрова — человека, чуткого к тревогам своих родных и близких, стремящегося оказать помощь товарищам по заключению Б. Попову и В. Таневу (док. 306), и в то же время — негибаемого революционера, смело отстаивающего в самых неблагоприятных условиях свои убеждения.

Издание архивных материалов о Лейпцигском процессе, приуроченное к 100-летию со дня рождения Г. Димитрова, важно со многих точек зрения, в том числе и для сохранения в памяти потомков его светлого образа. Своим трудом историки СССР, ГДР и НРБ внесли серьезный вклад в изучение жизни и деятельности Г. Димитрова.

ЛИТЕРАТУРА

1. Работническо дело, 1981.
2. Процесс о поджоге рейхстага и Георгий Димитров. Документы. Т. I. 27 февраля — 20 сентября 1933 года. М., 1981.



МАРИН ДРЖИЧ, КОМЕДИОГРАФ ИЗ ДУБРОВНИКА

Творчество и личность Марина Држича дают повод для многочисленных догадок. За этим далматинцем, родившемся в Дубровнике около 1508 и умершим в Венеции в 1567 г., признается слава выдающегося комедиографа Возрождения, но споры вокруг его имени не утихают, в последние годы они стали даже еще более оживленными. Югославских исследователей интересует, например, анализ языка его многочисленных произведений, энергично дебатировался вопрос об истоках творчества писателя. Не утихает полемика вокруг личности Држича, соединившего в себе непринужденную легкость комедиографа и обличительный пафос политического мыслителя.

В советской науке исследований, посвященных творчеству дубровницкого комедиографа нет, если не считать нескольких страниц в книгах [1, с. 95—99; 2, с. 708—710], поэтому для начала, по-видимому, уместно задаться вопросами: какую жизнь (и в какой среде) прожил писатель? Каков характер его литературного наследия? И что из созданного им живет в современной культуре?

Марин Држич, сын купца Марина и племянник известного поэта Джоре Држича (1461—1501), вырос в Дубровнике в пору, когда город вступил в самое блестящее столетие своей истории. XVI в. по справедливости считается временем расцвета дубровницкого судоходства, торговой и ремесленной деятельности его многочисленных балканских колоний и неслыханного роста прибылей от вывоза кож, шерсти, воска на средиземноморские рынки. Именно в XVI в. Дубровник пожинает обильные плоды своего пребывания под османским суверенитетом — он сохраняет нейтралитет во всех вооруженных столкновениях западных держав с Турцией, остается единственным портом, через который в годы войн на западные рынки прорывается вся масса балканского экспорта. Дубровник процветает в отличие от остальных далматинских городов — за один только месяц с одной лишь таможи дубровчане собирают пошлин на сумму, равную годовому бюджету Задара или Сплита. Дубровницкая республика играет важную роль в международных связях того времени. В городе накапливаются огромные богатства, духовный климат Дубровника меняется, от былой бюргерской патриархальности не остается и следа, атмосфера стяжательства и предпримчивости пронизывает всю жизнь города. Молодой Држич остро это ощущает и испытывает на себе.

Семейство Држичей в XVI в. уже не принадлежало к городскому патрициату, монопольным образом использовавшему экономический расцвет. Држичи стали «гражданами», средним слоем между патрициями и просто-народьем; в семье было пять сыновей, и почти все они занимались торговлей. Марину пришлось сразу же столкнуться с денежными невзгодами — когда ему исполнилось 18 лет, семья настояла на том, чтобы он принял низший духовный сан, стал «клириком». С этого момента его все чаще называют «дум [дон] Марин». Држичи по давней традиции пользовались доходами с небольшой церкви Всех святых (или Домино) за городом в Реке Дубровачкой, а Марин получил в управление от родственников еще и небольшой монастырек на о. Колочеч. Кормили эти пребенды, видимо, не

очень сытно — в феврале 1528 г. архивные документы фиксируют пребывание Марина в городском соборе в должности органиста. В 1538 г. наступает полоса финансовых неудач. Отец с сыновьями Нико, Дживо и Вице принимает на себя долг еще одного сына, Влахо, проторговавшегося в Венеции на огромную сумму в 5 тыс. дукатов. Цифра эта потом будет долго преследовать писателя. Приходится продать родовое гнездо, дом где-то около Кнежева двора. В этом же году Марина отправляют в Италию — учиться, а, может быть, и завязать деловые связи. Власти республики выделяют ему единовременное пособие в 30 дук., в залог была отдана четверть материнского приданого и в октябре 1538 г. «дум Марин» уже в Сиене, в университете [3, с. 5—7; 4, с. 7—8].

Годы, проведенные в Сиене (1538—1544?), — значительные в жизни писателя. Здесь, как и в родном городе, он доказывает умение быстро завоевывать симпатии, особенно его любит молодежь — в июле 1541 г. Држича избирают вице-ректором университета и ректором студенческого общежития (*domus Sapientiae*), высший административный пост, который ему когда-либо достанется. Характер его нелегок, он жестоко ссорится с университетскими властями. В это время Држич много читает, изучает право, философию, совершенствуется в музыке (он отлично играет на лютне, флейте, контрабасе, клавесине), но увлеченнее всего отдается любимому делу — театру. Он не только изучает античных авторов и посещает спектакли; в феврале 1542 г. местная полиция доносит, что в доме одного сиенского нобилия перед 40 собравшимися была представлена комедия, в которой «господин ректор играл роль любовника» [4, с. 10]. Известно, когда он покидает Сиену, но дома его ждут новые неприятности — в ноябре 1544 г. торговый дом Држичей объявляет об окончательном банкротстве. Марин возвращается в Дубровник.

В 1545 г. в его жизни происходит новое событие. Дубровник посещает венский аристократ граф Кристоф Рогендорф. Характерно, что сопровождать его в прогулках по городу власти поручают священнику Држичу — «*per dare qualche spasso al dito conte*» («чтобы немного развлечь названного графа»). За Држичем закрепилась репутация весельчака и остроумца [5, с. 442]. Не случайно, видимо, граф предлагает «дум Марину» поступить к нему на службу в качестве компаньона или, точнее, камердинера (*camariego*) за два дуката в месяц, два платья в год и нерегулярные подарки. Этот поступок смущает некоторых исследователей — подобная роль представляется недостойной писателя¹, однако здесь не следует забывать о роли художника в обществе Возрождения. На рождество Држич с графом едет в Вену, но затем, убедившись в своей «неспособности к этой службе», возвращается на родину, а еще через год, забыв об этой своей неспособности, снова поступает к графу и вместе с ним едет в Константинополь. Ему сорок лет, он уже диакон (высокий чин, не тождественный дьякону в православной церкви), а с 1555 г. — пресвитер; за плечами много увиденного и осознанного, его богатая творческая натура ищет выражения.

В январе 1548 г. он ставит свою только что написанную первую, ныне утраченную комедию «Помет». Вокруг Држича складывается небольшая группа, «Помет-дружина» (это имя полюбилось ему). В феврале 1549 г. (в эти дни дубровчане празднуют день св. Влаха, городского патрона) на площади перед Кнежевым двором ставится его вторая пьеса, «Тирена», еще через год — «Шутка над Станцом» («Новела од Станца»). Он пишет не только комедии. В 1551 г. в Венеции выходит единственный сборник его стихов², затем на пиру богатого родственника ставится комедия «Венера и Адонис» («*Privovijes kako se Venere božica užeže u ljubav lijepoga Adona u komediju stavljena*»), и в том же, поистине благословенном году, на Влахов день дубровчане увидели премьеру еще одной комедии, которой суждена бессмертная слава, — «Дундо Марое». Затем на протяжении нескольких лет появятся «Пьерин», «Трипче из Утолче» и «Аркулин», «Джу-

¹ В. Д. Форетич, например, убежден, что Држич становится секретарем графа [3, с. 9], хотя граф едет с ним в Вену, а Држич не знает немецкого языка.

² «*Pjesni Marina Držića ujedno stavljene s mnogim drugim lijepim stvarmi*». Не сохранилось ни одного экземпляра, дошли лишь издания 1607 и 1630 гг. [4, с. 12].

хо Крпета» (1554), «Скупой» (1555) и «Гризула» (1556) — примерно по одной пьесе в год. Не все они сохранились, «Пьерин», например, и «Джухо Крпета» дошли до нас лишь в отрывках. В 1559 г. М. Држич пробует свои силы в непривычном для него жанре — он перелагает на родной язык трагедию Эврипида «Гекуба», пользуясь при этом итальянским переводом Л. Дольче [3, с. 37]. Достаточно одного взгляда на этот перечень, чтобы убедиться в неистощимости и бурной творческой энергии уже немолодого писателя. А ведь это были нелегкие годы.

Прослужив несколько лет в службе надзора за производством сукна, Држич занял место писаря в соляной торговле, оставив его лишь в 1556 г., когда ему было под пятьдесят. Брат Влахо требовал от него возврата взятых в долг 250 дукатов, после смерти матери он получает четверть ее приданого, но все раздает по долговым распискам. Нужды и лишений нет, но денежные трудности все время сопровождают писателя. Тем временем к нему приходит признание. В январе 1557 г. известный поэт Савко Бобалевич в стихах шлет привет прославленному творцу любовных стихов, Марину Држичу — для собратьев по перу он прежде всего поэт-лирик. С 1562 г. перед «дум Марином» открывается возможность переезда в Венецию; он поступает капелланом на службу к венецианскому архиепископу и одновременно живет в качестве почетного гостя в доме богатых дубровчан, торгующих в Венеции, купцов Примовичей. Изредка он наезжает в Дубровник, полгода (1566) находится во Флоренции, и эти месяцы оставят важный след в его биографии. 2 мая 1567 г. 59 лет от роду Држич умирает в Венеции, где в церкви Джанпаоло теперь висит доска, напоминающая о великом хорватском писателе эпохи Возрождения.

С. Бобалевич приветствовал Држича как лирического поэта, но для большинства современников он прежде всего комедиограф. По истечении же нескольких веков мы видим, что он самый выдающийся комедиограф не только дубровницкого, но и всего южнославянского средневековья. Пьесы писали в Далмации и до него, здешняя драматургия знает имя Ганнибала Лулича (1485—1553) с острова Хвара, где театральная традиция имеет удивительно прочные корни, а в 1612 г. будет создан и первый стационарный театр на далматинском побережье. Характерно, что этот хварский драматург свою самую известную пьесу «Рабыня» (история знатной девушки, похищенной турками) посвящает восхвалению того же Дубровника. «Рабыня» была поставлена в 1530 г., а тремя годами ранее, на масленицу дубровчане увидели пьесу своего согражданина, Андрея Чубрановича (1480?—1530?) «Цыганка», созданную по образцу итальянских карнавалых представлений. Продолжателем А. Чубрановича явился талантливый и разносторонний поэт, священник с острова св. Андрея, Мавро Ветранович (1482—1576) [6], развивавший патриотические темы в своих «Двух рабынях» и «Пастухах». А Никола Налешкович (1500—1587) — купец, астроном, математик, автор четырех пасторалей и трех комедий, — уже совсем близок к Држичу, в частности по жанру своих произведений [7; 8]. Пастораль и комедия будут и далее преобладать в дубровницкой драматургии [2, с. 702—707]. И Ветранович и Налешкович — не далекие предшественники М. Држича, а скорее старшие собратья. Их творчество вызвала к жизни, надо полагать, не только одна и та же среда, но и одни и те же обстоятельства. Дело в том, что в Дубровнике периода Ренессанса был особый спрос на произведения, предназначенные для театра.

Этот спрос был обусловлен, как минимум, тремя культурными фактами. Первый из них — церковные театрализованные действия, мистерии, которые имели место и в других европейских городах этого времени. О втором — фольклорных представлениях, тесно связанных с календарной обрядностью, преимущественно святочного и масленичного циклов, — мы знаем значительно больше. Сохранились многочисленные распоряжения городских властей — запреты переодеваться на святках в короля и князя, в платье священническое или женское, носить маски на рождество или Новый год, — в основном относящиеся к XV в. [5, с. 221]. Недавно была предпринята попытка отыскать более ранние свидетельства XIV в.

об отправке артистов из Дубровника в соседнюю Боснию, но, как выяснилось, речь шла тогда не о драматических труппах, артелях артистов, а об отдельных скоморохах или музыкантах [9]. И тем не менее народные истоки дубровницкого театра могут быть прослежены с большой полнотой, и в творчестве Држича они будут ощущаться значительно. Наконец, в-третьих, с конца XV в. под воздействием соседней Италии возрождается античная комедия, предшественная прежде всего именем Плавта. Хорошо известно, что Илья Цриевич (Элий Лампридий Цервин — 1463—1520), дубровницкий гуманист и один из немногих далматинцев, увенчанный лаврами в Риме (21 апреля 1484 г.), играл в комедиях Плавта. «...В садах под портиком Риария он представлял комедии забытые», — писал он сам о себе [1, с. 42].

Воздействие творчества римского комедиографа осознавал в дальнейшем и Марин Држич. Не приходится, таким образом, удивляться тому, что дубровчане XVI в. были приучены к театральным представлениям и их зрительские вкусы были до известной степени воспитаны [5, с. 234—244].

В этих условиях М. Држич и выступил в роли драматурга. И, судя по тому, что отныне он каждый год выпускает по новой пьесе, его знают и от него ждут все новых произведений. Диапазон сюжетов и мотивов в его произведениях достаточно широк, и в то же время обладает устойчивостью. В «Тирене» пастух Любмил умирает от любви к «виле» (фее), «Скупой» (дошедший до нас без концовки) — это история о том, как скупой старик пытается выдать дочь за богача; «Шутка над Станцом» — рассказ о крестьянине, заснувшим у городского фонтана и ставшем предметом насмешек со стороны молодежи; «Плакир» (или «Гризула») — это пастораль, где действуют попеременно вилы, античные божества, крестьяне и пастухи. В жанровом отношении пьесы Држича делятся на пасторали или драмы в стихах («Тирена», «Венера и Адонис») и комедии («Дундо Марое», «Аркулин», «Джухо Крпета»); особняком стоит «карнавальная игра» — «Шутка над Станцом». Картина мира в драматургии Држича пестра и сложна. И. Н. Голенищев-Кутузов отмечал, что в пьесах Држича чередуются фантастические и реалистические сцены, создается причудливая смесь реалистической новеллы и фантастических образов фольклора [1, с. 98—99]. Это безусловно справедливо, но не отражает всей сложности држичева творчества, особенно интересного с точки зрения своих корней и источников. Мы уже отметили, что о них спорят и поныне, справедливо отмечая книжный характер одних пьес, свойственный так называемой «ученой» или «эрудитской» комедии (например, наличие пролога, обязательных пяти действий, постоянного места действия — площади перед домами, где живут главные персонажи³); фольклорный характер другого типа пьес, преимущественно пасторалей, а в качестве третьего типа — подражание античным образцам [4, с. 69—130]. Последнее — подражание древним — сам Држич подтверждает совершенно определенно: весь его «Скупой» «украден... у Плавта», которого «дети читают в школах» [4, с. 540]. Учтем при этом, что к литературным «заимствованиям» в XVI в. относились иначе, чем сейчас, и откровенность Држича только делает ему честь — он использовал лишь античную схему, наполнив ее новым содержанием.

Среди источников, питавших творчество Држича, нельзя не предположить и итальянского влияния, в частности впечатлений от поездок в Венецию. Венецианский театр того времени по общему мнению выступал хранителем возрожденческих традиций в обстановке наступающей контрреформации. В соседней с Венецией Падуе в 1520—1533 гг. работает, ставит чужие комедии и пишет собственные знаменитый актер и драматург Анджелио Беолько, прозванный Рудзанте (Балагур) (1502—1542). Трудно предположить, что Држич мог не знать о нем, живя с конца 30-х годов в Италии. Беолько был одним из создателей народной комедии, широко

³ Ф. Швелец, например, утверждает, что почти все пьесы Држича вышли из круга эрудитских комедий, но талант писателя преодолел шаблоны эрудитской комедийной схемы [5, с. 232].

использовавшей диалект; его творчество хорошо изучено в литературе [10, с. 70—85] и вызывает удивление тот факт, что в югославской литературе не предпринимается никаких попыток проанализировать драматургию Држича с точки зрения возможных связей с творчеством А. Беолько.

Широкому современному читателю Држич известен преимущественно как автор одной комедии — «Дундо (т. е. дядюшка) Марое». И ее несомненные литературные достоинства, и ее удивительная сценическая судьба заставляют остановиться на ней чуть более подробно.

Содержание ее таково: богатый дубровницкий купец дядюшка Марое в сопровождении слуги разыскивает по Риму своего беспутного сына, Маро, отправленного торговать с 5 тысячами дукатов. Очень скоро он выясняет, что сын промотал деньги на содержание богатой куртизанки Лауры. Купец в отчаянии, а сын делает вид, что не узнает отца и отдает его в руки стражников как проходимца. Вокруг дома красавицы-куртизанки разгораются страсти — соперником купеческого сына выступает спесивый немецкий рыцарь Уго, у купчика не хватает денег, чтобы расплатиться с ростовщиком за дорогое ожерелье, а вдобавок его невеста Пера приезжает в Рим, чтобы разыскать своего жениха. В сумятице появляется еще один немец, важный старик из Аугсбурга, ищущий дочь, некогда сбежавшую из родительского дома. К тревоблениям господ присоединяются слуги — один вечно требует есть, другой открыто плуствует, преданная служанка отстаивает интересы госпожи. Все эти узлы, право их завязывать и распутывать оказываются в руках у одного из слуг, ловкого, сметливого и находчивого Помета, самого яркого из персонажей комедии. Он помогает выпутаться из трудностей старому дубровчанину, отдает загулявшего купеческого сына в руки его невесты, находит беглую дочь старику из Аугсбурга (ею, конечно, оказывается все та же синьора Лаура), — и куртизанке ничего не остается, как соединиться с искателем ее руки, немцем Уго. Действие в пьесе оказывается незавершенным, ее конец утрачен, но ясно, что дело идет к счастливой развязке.

Основная особенность комедии заключается в обилии забавных сцен и ситуаций, в широком использовании элементов комического. Автор сообщает о своих согражданах множество подробностей⁴, в движение приведена масса различных типов — купцы, трактирщики, слуги, стражники, няньки, ростовщики, иностранцы, куртизанки, письмоноши — перед зрителем проходит целый мир. Далеко не все из них выписаны с одинаковой тщательностью — М. Држича нередко упрекают в незавершенности его образов. Но главные из них и особенно скупой, расчетливый, жесткий и в то же время лукавый и чем-то по-человечески понятный дядюшка Марое созданы весьма выразительно.

В комедии есть еще один примечательный образ — тот самый Помет, который с таким блеском выводит большинство персонажей комедии из жизненных затруднений, личность сложная и многогранная. Помет — тонкий ценитель еды и вышивки, недаром его зовут Трпеза, (т. е. «трапеза»), при этом он остро чувствует свое приниженное положение: «... И кто только меня не зовет: „Помет, поправь мне (одежду)“ — поправлю, „Пойдем со мной“ — иду... Маро меня зовет — я ему кланяюсь с шапкой в руке, Тудешко меня, идол, отрывает от угощения. Иду, со стиснутым сердцем, а с лицом веселым...» (II акт, I явл.). Право на уверенность в себе дает ему сознание собственного превосходства и, в частности, умение владеть своими духовными силами: «Не надо быть поэтом, ... не надо быть героем с мечом в руке, ... не надо иметь деньги... Тот человек король, к о т о р ы й у м е е т в л а д е т ь с о б о й...» [Разрядка моя.— М. Ф.] (там же). И как символ этого духовного превосходства, Помет вводит понятие «виртуоз», т. е. человек, наделенный «virtù», доблестью, качеством, которое в этических теориях Возрождения, в частности, у Н. Маккиавелли, занимают такое значительное место. Недаром Ф. Чале находит столько об-

⁴ Например, из диалога Перы, невесты Маро, мы узнаем, что девушки в Дубровнике бывали в городском соборе в лучшем случае раз в год [5, с. 138].

щего между воззрениями Држича и флорентинского мыслителя [4, с. 96—101]. Држич долго шел к созданию этого образа, о чем свидетельствует его первая комедия; образ Помета был ему близок и, по-видимому, автобиографичен. В уста Помета писатель вложил самые дорогие для него и самые высокие философские размышления, и образ обрел долгую жизнь.

Впрочем о долгой жизни приходится говорить условно. Дело в том, что комедия написана особым языком, языком, который бесспорно обеспечивал ей шумный успех в XVI в., но с трудом стал восприниматься столетия спустя. Это — соединение итальянского и того дубровницкого наречия, «*lingua ragusea*», который представляет собой причудливую смесь сербохорватской и романской лексики, всегда бытовавшую в городе. Смешение диалектов всегда было сильнейшим средством воздействия на зрителей⁵, да и сейчас ломаный язык некоторых героев «Дундо Марое» вызывает смех в зрительном зале, но в наши дни Држича совершенно невозможно читать без подробнейшего словаря. Недаром, по мнению современных специалистов, один из самых живописных объектов изучения у Држича — это его язык.

Не удивительно, что все это со временем надолго закрыло дорогу к зрителю шедевру, созданному Држичем, а вдобавок изменились театральные вкусы [10]: с конца XVIII в. комедия дель арте больше не привлекает внимания режиссеров и в Италии. С 1775 г. (или 1780-х годов) в Дубровнике больше не ставят пьес на итальянском языке, XVI век для людей XIX казался далекой эпохой. Во всяком случае вплоть до кануна II мировой войны Држича не только не ставят, но и не помнят. Текст его произведений впервые был напечатан Й. Буничем в 1867 г., через 30 лет К. Иречек познакомил общественность с извлеченными из архивов данными о его биографии. И все же этого было недостаточно, чтобы пробудить к Држичу устойчивый интерес. Этот интерес прорвался внезапно перед второй мировой войной (постановка М. Фотеза) и оказался уже неостановим. Успеху комедии в военные годы способствовали сатирические ноты, которыми наполняли исполнители образ Уго Тедешко, «Немца» — комедия даже запрещалась оккупационными властями⁶. С этого времени «...Марин Држич был извлечен из 400-летнего забвения, а всякий образованный человек (в Югославии) стал считать „Дундо Марое“ самой дорогой для него комедией» [5, с. 426].

В послевоенные годы интерес к Држичу не утратился. Напротив, в своих последних работах М. Фотез мог с удовлетворением отметить, что «Дундо Марое» показан во многих странах Европы и постановки его продолжают шириться. Более того, после войны мировое театроведение как бы открыло для себя Држича. Вот примечательный факт. Известный историк театра Г. Киндерманн в первом издании своей «Истории европейского театра» (1952) не упомянул даже имени М. Држича, а во втором издании (1959), посвятив ему восемь страниц, с изумлением отметил: «Трудно представить, что это произведение („Дундо Марое“) первый раз было поставлено за 11 лет до рождения Лопе де Вега, за 14 лет до рождения Шекспира и за 70 до Мольера» [12, с. 418; 5, с. 141].

Что знает о Држиче советский зритель? В Советском Союзе в послевоенные годы дважды с большим успехом ставили «Дундо Марое». Первый раз постановку в театре им. Вахтангова в 1963 г. осуществил один из ведущих югославских режиссеров Боян Ступица (выступивший и как художник спектакля). Критика, признавая успех спектакля, в то же время отмечала, что не всем актерам удалось отразить природу народного юмора Држича, хотя, может быть, рецензентам спектакля не стоило переоценивать простоту, непосредственность, наивность героев пьесы, а са-

⁵ «Одна из главных вещей в комедии — диалект!» (Из беседы М. Беловича, постановщика «Дундо Марое» на сцене БДТ им. Горького в Ленинграде с автором этих строк 4 I 1981 г.). См. свидетельство современника о постановке Беолько: «... обходили стол, исполняя диалоги о деревенских делах на том же (падуанском) диалекте, весьма забавные» [10, с. 74].

⁶ Из беседы с М. Беловичем.

мую комедию считать «фольклорной» [13]. Вторую постановку осуществил главный режиссер белградского Югославского драматического театра Мирослав Белович (художник Звонко Шулер, композитор Велько Марич) в Академическом Большом драматическом театре им. М. Горького в Ленинграде в июне 1980 г. Для М. Беловича «Дундо Марое» — это новое одухотворение схемы итальянской ренессансной комедии, «солнечное произведение Држича на советской сцене нам представляется очень удачным. Блестяще играет дядюшку Марое Н. Трофимов, удачен дебют молодого актера В. Гвоздицкого в роли Помета, надолго запоминается зрителям А. Толубеев, играющий купеческого сына»⁷.

Упомянем лишь об одном удачно найденном в спектакле решении. У Држича действие разворачивается в двух планах. С одной стороны — в Риме («... Экое чудо: Рим из Дубровника глядеть!» — восклицает в комедии Пролог), а с другой стороны — в мире собравшихся в Риме дубровчан, как бы в среде «малого Дубровника». И в спектакле это совмещение двух пространств, в которое помещено действие персонажей, находит неожиданное и тонкое решение: художник вынес на римскую улицу приметы города Дубровника. На авансцене висят сети, валяется якорь, на заднике голубым светом вспыхивает морской простор, а в самом центре сцены возвышается средневековый символ дубровницкой коммунальной свободы — статуя рыцаря Роланда (так называемая «Орландова колонна»). Разные пространства намеренно совмещаются, зритель как бы вправе выбирать — один увидит здесь Рим, другой — Дубровник и, насколько мы можем судить по фотоматериалам, которые сохранились от прежних постановок «Дундо», аналогичное сценическое решение существовало повсюду — либо в спектакле, идущем на дубровницкой площади, появляется задник с контурами Рима или памятником римской волчице, либо позади римской улицы возникают контуры дубровницкой гавани [15, с. 48, 65, 240—241, 336].

Следует отметить, что югославская литература о Марине Држиче огромна. В центр исследований в последние годы постепенно перемещаются вопросы изучения его пастушеских комедий [5, с. 112—130], его стихосложения [5, с. 66—87, с. 87—97], проблемы музыки в его творчестве [5, с. 207—217] и, как мы уже упомянули выше, проблемы языка [5, с. 269—345]. Вносятся предложения издать словарь его комедий, подготовить полную библиографию работ о нем, основать центр документации о Држиче, играть «Дундо Марое» не в сокращенной, а полной редакции⁸. В 1979 г. было осуществлено одно из наиболее часто повторявшихся в последние годы пожеланий — в свет вышло комментированное издание всех трудов Држича с прекрасным исследовательским введением Ф. Чале [4]. К 1967 г. библиография о М. Држиче (за 1803—1967 гг.) насчитывала уже 475 названий [5, с. 531—555]. В августе и октябре 1967 г. в связи с 400-летней годовщиной смерти писателя в Дубровнике были проведены посвященные ему симпозиум и научная конференция, итогом которых явился «Сборник трудов о Марине Држиче». При этом количество исследований, посвященных великому дубровчанину, продолжает расти, а его литературная слава не идет на убыль. Впрочем вот уже около полувека личность М. Држича продолжает интересовать исследователей еще в одном отношении.

Држич оказался не только писателем. Более 50 лет назад французский ученый Жак Дэр, работая во флорентийском архиве, сделал сенсационное открытие — он обнаружил четыре письма, которые в июле—августе 1566 г. М. Држич написал правителю Флоренции, тосканскому герцогу Козимо I Медичи [16; 17]. В этих письмах Држич предложил герцогу план ...

⁷ С материалами из музея БДТ я смог познакомиться благодаря любезному содействию И. Н. Шямбаревич, которой хочу выразить свою признательность.

⁸ Между прочим, уже есть опыт подобного рода: в 1967 г. в Югославии так сыграли «Скупого», однако попытка оказалась неудачной.

государственного переворота в Дубровнике. Этот план, изложенный в самом обширном из писем Држича, состоящем из 21 пункта (это второе по счету письмо — от 2 VII 1566, первое утрачено), достаточно обстоятелен. Држич начинает с картины состояния Дубровника, в которой отражаются «хорошие и слабые стороны нынешнего правительства» — политика правительства его интересует в первую очередь. Он ведет речь о посольствах, которые отправляет республика, нередко отпуская на это нищенские средства — «краснея, говорю об этих низостях» (§ 3), о том, что город отвратительно укреплен (§ 13) и легко может стать добычей турок (§ 16), о том, как несколько лет назад султан послал войско взять город, а люди, правившие им, «только плакали и как испуганные женщины ждали, что помощь чудом упадет с неба» (§ 6). По его убеждению правительство из страха перед теми же турками «стремится разорить, уничтожить» дубровницкий флот, который так нужен Западу и всему христианству (§ 4). Впрочем, противореча сам себе, Држич говорит: «что касается флота и денег... Дубровник, слава богу, сейчас в очень хорошем состоянии» (§ 5) и это не единственное противоречие в его рассуждениях. Правосудие отправляется скверно — следуют примеры несправедливых приговоров (§ 8—11); над иностранцами чинятся насилия (§ 15), свои голоса в Совете республики нобили отдают кому им заблагорассудится (§ 14). Все это можно и нужно изменить насильственным путем.

Држич рекомендует герцогу в течение нескольких месяцев (с октября по январь) в несколько приемов доставить в Дубровник 50 «добрых солдат» во главе с 4 капитанами и одним полковником. Эти люди должны прибыть из Венеции под благовидным предлогом, «купить лошадей, ...выкупить рабов» и никто из них не должен знать ни их истинных целей, ни других участников до самой ночи переворота. Они должны явиться почти безоружными, сам Држич берется доставить им аркебузы, а заранее извещенный кузнец собьет засовы с городских ворот (§ 18). Военный удар следует поддержать папским отлучением (§ 17, 19). Переворот, по мысли Држича, должен найти определенную поддержку в обществе — «вся молодежь примкнула бы к моим планам» (§ 7), «обещаю, что весь простой народ (*tutto il popolo*) сразу же быстро подхватит это доброе дело» (§ 22) и когда Совет города будет создан на новой основе, то «по генуэзскому обычаю» половина его будет отныне составлена из пополанов (§ 7). Переворот, таким образом, носит открыто антипатрицианский характер. Но Држич выступает еще более определенно. Виновниками всех бед его родного города он объявляет даже не весь нобилитет, а только его олигархическую верхушку, тех нескольких «беспольных, глупых и безоружных уродов», которые захватили власть в городе (§ 4, см. также и 3-е письмо от 3 VII). Именно против них и направлено острие этого странного и дерзкого проекта.

Как бы ни оценивать эту последнюю жизненную акцию писателя, необходимо признать, что перед нами совершенно новый, неизвестный доселе Држич. Тот, которого мы знали раньше, никогда не участвовал в заговорах, даже в стенах родного города, никогда не писал политических программ, никогда не выступал с критикой государственных режимов, да еще такой резкой. Согласимся, что этот политический заговор, в котором Држич был одним из немногих, если не единственным участником, вполне способен породить массу догадок и споров в литературе. Нетрудно понять, почему Држич обратился к одному из итальянских государей — к ним и впоследствии, в XVII в., будут адресоваться ищущие поддержки заговорщики из балканских стран [18, с. 128 и сл.], а тосканский герцог был одним из самых сильных. С открытием писем личность Држича, по мнению одних исследователей, стала «загадочной и трагически серьезной» (так думал Б. Водник), по мнению других Држич оказался «смешно наивен» (М. Решетар). Однако вряд ли можно думать, что Држич является несерьезным бездельником, даже страдающим какими-то душевными недостатками, затеявшим свое предприятие либо из-за денег, либо из желания обратить на себя внимание (Й. Тадич) [19]. В последние годы возобладало отношение к Држичу как к трезвому мыслителю, обеспокоенному в пер-

вую очередь отношениями с Турцией [3, с. 49—76]⁹ или исполненному дубровницкого «патриотизма» (И. Пупачич) [5, с. 191]. Однако, какие бы объяснения для последнего жизненного поступка М. Држича ни выдвигались в последние годы, большинство исследователей объединяет мысль о том, что этот поступок был продиктован социальными соображениями, что писателя вдохновляла ненависть к дубровницким олигархам¹⁰. По поводу социальных симпатий и антипатий писателя в тексте его комедий можно отыскать несколько любопытных свидетельств.

«Дундо Марое» открывается Прологом, в котором Черно книжник («Негромант») Длинный нос (т. е. носящий маску), рассказывает о своих путешествиях в «Великие и Малые Индии», в страны, где «нет слов „мое“ и „твое“, где все общее и каждый — хозяин всего» [4, с. 343]. Это место из комедии (в современной редакции эти слова произносит Помет) обычно цитируется для иллюстрации социальной прозорливости драматурга, актуальности написанного им. В наши дни у некоторых исследователей в связи с Прологом возникают ассоциации с Т. Мором [20, с. 13], другие прямо называют Држича «поэтом дубровницкой бедноты» [21] и ищут объяснения его общественной позиции в перенесенных невзгодах или картинах страданий, увиденных им в юности¹¹. Да и в Прологе к «Дундо Марое» Држич, рисуя фантастическую картину возникновения двух типов человеческих характеров — людей-«назбиль» и людей-«нахвао» (названия придуманы Држичем) считает причиной этого корыстолюбие, жадность, «лакомость». В этом смысле какой-то общественный протест действительно присутствует у Држича, правда, в смягченной форме — ни разу в комедии слуги не высказывают недовольства хозяевами [3, с. 28].

Но если до протеста против всех социальных порядков Држич не поднимается, то своего отношения к дубровницкому патрициату он не скрывает. Убедиться в этом можно, присмотревшись к образу дундо Марое: он — купец, но важно также и его местоположение в сословной иерархии, принадлежность к городской знати, патрициям, или к простолюдинам. Кто же такой Марое? Држич ласково именует его «дядюшкой», ничего не уточняя и мастерски наполняя его облик живыми и симпатичными человеческими чертами. Однако существуют косвенные указания на то, что в его лице писатель вывел на сцену и осмелел дубровницкого аристократа. Показателен в этом отношении облик его сына. Маро: Маро не только глупый и самоуверенный мот, готовый при случае предать родного отца, он еще нагл и драчлив, спесив и высокомерен, и все эти качества характеризуют его чрезвычайно выразительно. В дубровницкой элите народу были ненавистны не только отцы, но и дети, и для этого были веские основания. Молодые нобили бражничали и скандалили, затевали ссоры и оскорбляли женщин, а по ночам в переулках бесчинствовали их вооруженные шайки. Родилось даже словечко для их обозначения — «ночурак», т. е. ночной смутьян. Маро и есть типичный «ночурак» и, таким образом, хотя Држич по каким-то причинам не пожелал явно сделать своего главного героя аристократом, он в то же время не оставил никаких сомнений относительно «аристократического» характера поведения его сына¹². Недаром первое представление «Дундо Марое» состоялось перед народом на городской площади, а последующие внезапно были перенесены в доступный лишь немногим Княжеский дворец. Иногда полагают, что причиной этого явилась непогода, но почему же тогда с этого момента на титуль-

⁹ Характерно, что ни в одной из своих пьес Држич не упоминает о турках, хотя вся жизнь города зависела от отношений с могущественной империей — тема была слишком деликатной, чтобы о ней говорить публично, да еще с театральных подмостков.

¹⁰ В социальных истоках его воззрений М. Држичу отказывает лишь И. Пупачич. По его мнению, Држич был лишь выразителем интересов нобилей и горожан, державшихся в городе испанской ориентации [5, с. 195].

¹¹ Например, Ж. Еличич подробно рисует расправу с портным Андреем, который будто бы занес в город в 1527 г. инфекцию чумы [21, с. 64].

¹² Эту же мысль о том, что сын дядюшки Марое — нобиль, развивает и В. Форетич [3, с. 27].

ном листе пьесы появилось в качестве охранного символа: «Комедия, представленная в зале заседаний Совета...»?

Не в этой ли уклончивости до поры от прямого социального вызова надо искать разгадку того прозвища, которым Дубровник наградила автора своих комедий? Марин Држич остался в памяти сограждан под прозвищем «Выдра». Некоторые исследователи склонны объяснять это живучестью клички детских лет [5, с. 444]. Ф. Чале полагает, что это прозвище из театральной среды [4, с. 8], Л. Кошута прямо связывает его с участием в заговоре [23, с. 148]. Мне же кажется, что прозвище фиксирует в себе какую-то сумму качеств, свойственных Држичу на протяжении всей его сознательной жизни. Натуралисты знают, что выдра обладает мягким ласковым характером и в то же время подозрительна и скрытна¹³. Сейчас, по истечении нескольких столетий эта шутовская характеристика наполняется каким-то дополнительным смыслом. М. Држич оказывается популярнейшим писателем, любимцем дубровницкого общества, и в то же время ожесточенным противником городской олигархии, в уединении вынашивающим свои политические замыслы.

Характеризовать Држича и заманчиво и неслыханно трудно. Заманчиво потому, что его двойная жизнь — признанного всеми драматурга и никому неизвестного заговорщика — придает его биографии детективный элемент. Трудности же связаны с рядом обстоятельств — и с обширной историографической традицией, которую нужно знать, и с архаическим языком, на котором написаны произведения писателя и который под силу только большому знатоку. И тем не менее можно с уверенностью предположить, что интерес к Држичу будет расти — писатель уже вошел в нашу жизнь, театральные постановки последних лет сделали это имя широко известным. А его место в истории культуры Возрождения само по себе обеспечивает ему право на внимание исследователей.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Голенищев-Кутузов И. Н.* Итальянское Возрождение и славянские литературы XV—XVI веков. М., 1963.
2. *Игнатов С. С.* Зарождение славянского театра на Балканах.— В кн.: История западноевропейского театра. Т. I. М., 1956.
3. *Foretić V.* O Marinu Držiću.— In: Rad JAZU, knj. 338. Zagreb, 1965, s. 5—146.
4. *Držić M.* Djela. Priredio F. Čale. Zagreb, 1979.
5. *Zbornik radova o Marinu Držiću.* Zagreb, 1969.
6. *Švelec F.* Mavro Vetranović.— In: Radovi Instituta u Zadru, sv. 4—5. Zadar, 1959, s. 175—214.
7. *Rački F.* Nikola Stjepka Nalješković.— In: Stari pisci hrvatski. JAZU, sv. V, Zagreb, 1873.
8. *Пантић М.* Налјешковићева комедија «Арецитана и Мара Кларића на пиру».— В кн.: Зборник Матице Српске. Нови Сад, 1956, с. 66—71.
9. *Lešić J.* Kazališne veze između Dubrovnika i Bosne u XV stoljeću.— In: Dani Hvarskog kazališta. Renesansa. Split, 1976, s. 222—234.
10. *Дживеллего А. К.* Итальянская народная комедия. Commedia dell'arte. М., 1954.
11. *Veritić N.* Iz povijesti kazališne i muzičke umjetnosti u Dubrovniku.— In: Anali Histojskog instituta u Dubrovniku, god. II. Dubrovnik, 1953, s. 329—357.
12. *Kindermann H.* Theatergeschichte Europas. Bd. II. Salzburg, 1959.
13. Советская культура, 24.XII. 1963.
14. *Сербобольский О.* Белые ночи Мирослава Беловича.— Вечерний Ленинград, 17 VII 1980.
15. Dani Hvarskog kazališta. Renesansa. Split, 1976.
16. *Dayre J.* Marin Držić conspirant à Florence.— In: Revue des études slaves, t. II, fasc. 1—2. Paris, 1930.
17. *Dayre J.* Marin Držić, urotnik u Firenci.— In: Dubrovačke studije, ed. M. Rešetar. Zagreb, 1930.
18. *Станојевић Гл.* Југословенске земље у млетачко-турским ратовима XVI—XVIII вијека. Београд, 1970.
19. *Тадих Ј.* Дубровачки портрети. Београд, 1948.
20. *Ratković M.* Predgovor.— In: Držić M. Novela od Stanca. Zagreb, 1964.
21. *Jeličić Z.* Marin Držić pjesnik dubrovačke sirotinje. Zagreb, 1950.
22. *Jeličić Z.* Marin Držić-Vidra. Београд, 1958.
23. *Košuta L.* Pravi i obrnuti svijet u Držićevu «Dundu Maroju» — In: Mogućnosti. Split, 1968, № 11—12, s. 1356—1376, 1479—1502.

¹³ Хочу поблагодарить В. В. Немцева, обратившего мое внимание на это обстоятельство.



ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

БОЯН ГРИГОРОВ. От съглашателство към залез. Социалдемократическата партия в България. 9 юни 1923—19 май 1934 г. София, 1980, 347 с.

БОЯН ГРИГОРОВ. От съглашателства к закату. Социал-демократическата партия Болгарии. 9 юния 1923—19 мая 1934 г.

Рецензируемая монография известного болгарского историка Б. Григорова является значительным вкладом в изучение организации, идеологии и политики болгарской правой социал-демократии в новейшее время, в разоблачение ее реформизма и оппортунизма, в изучение попыток установления сотрудничества между коммунистами и социалистами.

Хронологические рамки работы охватывают время между военно-фашистскими переворотами 1923 и 1934 гг.— исторически обособленный период развития болгарской социал-демократии, на протяжении которого она перешла от участия в реакционном правительстве к оппозиционному курсу, оказалась охваченной внутренними распрями, из-за ее реформизма, антикоммунизма и антисоветизма еще более ослабло и ее ранее весьма незначительное социальное влияние, а после переворота 1934 г. она вместе с другими политическими партиями была запрещена.

В работе широко использован разнообразный комплекс источников, в частности, социал-демократическая печать различных направлений, материалы Центрального партийного архива БКП (в том числе копии документов, сохраняемых в архиве Амстердамского Института социальной истории), Центрального государственного исторического архива и Архива Министерства внутренних дел.

Анализ документов позволил автору аргументированно выделить внутренние этапы развития БРСДП(о) в рамках рассматриваемого периода, раскрыть организационное и идейно-политическое положение болгарской социал-демократии, внутреннюю оппозицию в ней и борьбу отдельных группировок, разоблачить революционную фразеологию лидеров, прикрывавшую крайнюю неподследовательность в отношении насущных нужд трудящихся, и в то же время постепенное формирование в ее рядах левого течения, которое, однако, еще не созрело до понимания необходимости единства действий с БКП.

Б. Григоров выделил четыре этапа развития болгарской правой социал-демо-

кратии, которым посвятил отдельные главы.

Первый из них охватывает время, когда БРСДП(о) участвовала в фашистском правительстве А. Цанкова с момента переворота 1923 г. до середины февраля 1924 г. Автор показывает, что ЦК БРСДП(о) одобрил переворот 9 июня и дал согласие на участие своего представителя Д. Казасова в кабинете Цанкова. После переворота Социал-демократическая партия попыталась привлечь к себе массу членов БЗНС. Отвергнув единый фронт, предложенный БКП, болгарские реформисты поддержали правительство в подавлении антифашистского Сентябрьского восстания. Лишь отдельные члены Социал-демократической партии, сохранив верность пролетарскому долгу, приняли участие в восстании. Переход в оппозицию в феврале 1924 г. автор обоснованно связывает с неудовлетворенными амбициями правых лидеров партии, рассчитывавших получить более широкое представительство в органах управления.

В качестве второго этапа выделены события с февраля 1924 по октябрь 1926 г., когда, после перехода партии в оппозицию, наметился, а затем произошел раскол в ее рядах и оформилась новая реформистская организация — Социалистическая федерация (СФ). Анализ, проведенный Б. Григоровым, показывает, что оппозиционная линия БРСДП(о) оформлялась постепенно. Вначале критика правительства носила доброжелательный характер, затем она обострилась. В значительной мере это было связано с осуждением болгарской социал-демократии рядом зарубежных социал-демократических партий за ее участие в фашистском правительстве. С октября 1925 г. БРСДП(о) стала высказываться за смену цанковского кабинета. С образованием в октябре 1926 г. СФ кризис в социал-демократическом движении значительно углубился.

Третий этап (1926—1932) характеризуется, по обоснованной оценке автора, параллельным существованием двух реформистских политических организаций БРСДП(о) и СФ. Обе они выступали с взаимными обвинениями, значительная

часть которых имела под собой веские основания. Но выдвигались эти обвинения в групповых, фракционных целях. Взаиморазоблачение способствовало дальнейшему падению авторитета болгарской социал-демократии. В то же время в конце 20-х — начале 30-х годов, как отмечает Б. Григоров, наметились новые тенденции к объединению социал-демократии как средства расширения ее влияния и более эффективной борьбы против коммунистического движения. Одновременно БРСДП(о) усилила критику режима Демократического сговора, приди постепенно к выводу о фашистском характере обоих его правительств. Что же касается правительства Народного блока, образованного в 1934 г., то оно подвергалось критике за невыполнение предвыборных обещаний и защиту интересов буржуазии. Характеризуя оформление новых оппозиционных сил в социалистическом движении начала 30-х годов, автор показывает их неоднородность в идейном, политическом и организационном отношении. Наряду с крайне реакционным крылом возникла левая оппозиция (А. Златаров, Д. Братанов, З. Митовски и др.), поставившая задачу возрождения социалистических идеалов, и «крайне левая группа», проявлявшая известные симпатии к троцкизму, но не носившая троцкистского характера. С полным основанием автор уделяет особое внимание видному социалисту проф. А. Златарову, твердо вставшему в этот период на позиции демократии и прогресса.

Наконец, четвертый этап охватывает 1932—1934 гг. (до переворота 19 мая), когда в болгарской социал-демократии проявились известные тенденции пересмотра реформистской программы и тактики, восприятия некоторых революционных средств борьбы. Об этом свидетельствуют анализируемые Б. Григоровым материалы острых дискуссий на ХХХV и ХХХVI съездах партии, а также некоторые из решений этих съездов. Если социал-демократы приветствовали военно-фашистский переворот 1923 г., то переворот 1934 г. был ими категорически осужден, а новый кабинет охарактеризован как правительство военной диктатуры.

Автор убедительно показал, что правое руководство БРСДП(о), а также СФ на протяжении рассматриваемого периода

содействовали буржуазии в подавлении революционной борьбы масс; что их выступления против политики крайне правых буржуазных правительств носили по преимуществу декларативный характер, что для них были характерны грубый антикоммунизм и антисоветизм. Рассматривая историю болгарской социал-демократии на широком международном фоне, Б. Григоров показал тесные связи БРСДП(о) с Рабочим социалистическим интернационалом, которому она неоднократно вынуждена была давать объяснения по поводу своего участия в фашистском правительстве, но в целом действовала в духе его идеологии и политики, носивших соглашательский характер.

Предпринятый в монографии анализ генезиса и развития левых тенденций, которые в рассматриваемый период проявлялись еще слабо, весьма важен для понимания наступивших во второй половине 30-х годов изменений в политике БРСДП(о) в сторону сотрудничества с БКП и другими партиями на антифашистской основе.

Рецензируемая монография не свободна от отдельных пробелов. В заключениях упоминается об участии отдельных местных организаций Социал-демократической партии в единых действиях с Рабочей партией во второй половине 20-х — начале 30-х годов (с. 330, 331). Но в тексте соответствующих глав эти важные процессы, получившие отражение в источниках¹, не рассматриваются. Их анализ позволил бы шире и глубже представить предпосылки формирования левого течения в БРСДП(о). Следовало бы более четко охарактеризовать социальную базу социал-демократического движения и ее эволюцию на протяжении рассматриваемого периода. Подчас важные, на наш взгляд, факты, например, конфликт секретаря реформистских профсоюзов Г. Данова с правым руководством БРСДП(о) (с. 257), рассматриваются мимоходом, без выяснения причин.

В целом же исследование Б. Григорова, выполненное на высоком научном уровне, заслуживает положительной оценки.

Чернявский Г. И.

¹ См., например, ЦПА при ЦК на БКП, ф. 6, оп. 1, ед. хр. 6, л. 5; «Новини», 13 января, 19 апреля 1928 г.

E. SCHULDT. Handwerk und Gewerbe des 8. bis 12. Jahrhunderts in Mecklenburg. Schwerin, 1980, 96 S.

Э. ШУЛЬДТ. Ремесло и промыслы в VIII—XII вв. в Мекленбурге

История материальной культуры по-лабских славян в последнее время заметно конкретизируется постоянно возрастающим количеством фактических данных. Особая роль среди них принадлежит материалам археологических раскопок. Исследования археологов вносят

существенные коррективы в наши представления о различных сторонах хозяйственной жизни в славянском Полабье. Подтверждением этому служит изданная в Шверине книга крупного археолога, из ГДР, проф. Эвальда Шульдта. Специалистам известны его ранние пуф-

ликации с интересными наблюдениями и выводами по результатам археологических работ в Мекленбурге [1—6]. В рецензируемой книге Э. Шульдт рассматривает состояние ремесла и промыслов северо-западных славянских племенных групп в том же регионе. Здесь обитали племенное объединение ободритов (вагры, варны, ободрицы, полабы), союз вильцев-лютичей (хижане, черепняне, доселчане, ратары), а также некоторые другие большие и малые племена. Автор показывает развитие ремесла у этих племен с момента их поселения в Полабье в VII—VIII вв.¹ и до насильственного включения в состав немецкого феодального государства во второй половине XII в.

Можно выделить два главных тезиса в содержании работы: 1. процесс развития ремесла у полабских славян протекал в том же русле, что и у их западных и восточных соседей — от ремесла домашнего, совмещаемого с работой в поле, до его отделения от земледелия и превращения ремесленников к X в. в особый общественный слой; 2. разнообразие ремесел и высокая степень профессиональной квалификации ремесленников-специалистов.

Каждый из разделов книги посвящен описанию одной ремесленной специальности: гончара, кузнеца, плотника, токаря, изготовителя повозок и сельскохозяйственных орудий, сапожника, каменотеса и др. Полнота их характеристики не всегда одинакова, что прежде всего обусловлено количеством и качеством дошедших до нас источников, степенью их сохранности. Шульдт тщательно изучил все имеющиеся в его распоряжении археологические данные последних десятилетий (раскопки политических, культурных центров отдельных племен, поселений, захоронений), синтезировал собранный материал в образную картину состояния ремесленного производства у славян. Он позаботился о максимальной документальности своей работы, снабдив ее большим количеством фотографий, рисунков, схем-реконструкций.

Обстоятельно рассмотрено состояние гончарного производства. Самую раннюю славянскую керамику в междуречье нижней Эльбы и нижнего течения Одера автор относит к так называемому суковскому типу (раскопки поселения близ местечка Суков, округ Тетеров), вся она — лепная и бытовала в VII—VIII вв. Почти одновременно с суковской керамикой в Мекленбурге распространяется посуда фельдбергского типа. Автор отмечает, что вопрос о преемственности или сосуществовании этих типов керамики в пределах одной, либо различных славянских этнических групп, остается спорным². Далее, применительно к IX—

X вв. выделяются менкендорфский, френцендорфский и другие гончарные типы. Все они получили в книге всестороннюю сравнительную характеристику. В конце X в. отмечается дальнейшее изменение керамической продукции. Оно связано в первую очередь с использованием в мастерских гончарного круга. Распространяются тетеровский и филперовский типы сосудов. Их отличает особый характер формы, обжига, орнаментации.

Шульдт в рассматриваемой книге не ставит цели выявить связь определенных типов керамики с конкретными территориально-этническими племенными объединениями и этногенезом последних. Однако сам по себе ярко описанный керамический комплекс не только позволяет представить картину одной из сторон хозяйственной жизни полабских славян, но и служит хорошим подспорьем в решении этнических проблем.

Интересные данные приводятся автором о развитии кузнечного дела у славянских племен. Славяне издавна умели добывать и обрабатывать железо, а к X в. происходит специализация кузнецов. Свидетельством тому служат большие по объему скопления остатков металлургического производства в отдельных местах поселений. Шульдт описывает и дает в фотографиях широкий ассортимент металлических изделий: различные виды топоров, мечей, скребки, шила, ключи, гвозди, шпory, ножи, иглы, цепи, скобы и т. д. Он отмечает, что кузнецы изготавливали также инструменты для ремесленников других специальностей. Шульдт справедливо считает, что некоторые виды металлического оружия занесены на славянские территории извне, в результате обменов, захватов. Основная же часть продукции железодельного производства, несомненно, по мнению автора, выполнена славянскими мастерами.

Интересные сведения содержит работа Шульдта о состоянии деревообрабатывающего ремесла. Славяне были искусными плотниками. Об этом свидетельствуют вскрытые археологами остатки жилищных и культовых строений, оборонительных конструкций, мостовых сооружений в Берен-Любхине, Тетерове, Грос Радене, Сукове. Чаще всего основным строительным материалом был дуб, а наиболее распространенным орудием плотника — топор. Пример тому — реконструированная модель культового храма в Грос Радене (с. 37), лодки с острова Рюген (с. 39), повозки, сельскохозяйственные деревянные орудия. К последним, в частности, относятся сохранившиеся на поселении Грос Раден детали бороны из дуба, которая, по-видимому, употреблялась в X в. (с. 47). Это вносит новый конкретный штрих в картину обработки почвы в то время.

Расширяют наши знания о славянских ремеслах приводимые материалы о токарном деле. Автор выявляет аналогии выточенной из дерева посуды (поселение Берен-Любхин) с определенными формами славянской керамики. Напрашивается вывод о местном славянском производстве деревянных предметов токарным способом и несостоятельности версии

¹ В работах некоторых историков в ГДР начало расселения славян в районе Мекленбурга датируется второй половиной VI—VII вв. [7; 8].

² В ранних публикациях Э. Шульдт склонялся к мнению о преемственности форм фельдбергской посуды от суковской [9].

их иноземного происхождения. Отходы токарного производства в мастерской Грос Радена, а также этнографические параллели позволили Шульдту дать описательную реконструкцию токарного станка. Он весьма высоко оценивает мастерство славянских токарей, замысловатую, со вкусом выполненную орнаментацию изделий, называя все это подлинными произведениями искусства (с. 63).

С интересом воспринимаются новые данные об изделиях из кости, цветных металлов, обработке камня, кожи, производстве одежды и обуви. Автор не склонен переоценивать степень отделения ремесла от земледелия, специализацию всех ремесел. Изготовление многих предметов домашнего обихода, орудий труда оставалось делом землепашца. Однако факт выделения в X—XI вв. таких ремесел, как гончарное, кузнечное, плотницкое, токарное и некоторых других, не вызывает сомнений.

Было бы, конечно, желательно попытаться выявить специфику ремесла по отдельным территориальным этно-политическим общностям (у ободритов, лютичей, ран, линонов), провести сравнение с соседними районами. Автор такой задачи не ставил. Он обобщил богатый фактический материал для обширного района Мекленбурга и этот материал — еще одно убедительное свидетельство лженаучности распространявшихся некогда шовинистических теорий об извечной отсталости хозяйственной и политической жизни полабских славян и культуртрегерской миссии немцев на востоке.

Добытый археологами из ГДР материал убеждает, что уровень развития ремесла у славян в VIII—XII вв. был в основном такой же, что и у их западных и восточных соседей.

Работа Э. Шульдта — ценное издание о славянском ремесле. Она достойна внимания всех, кто интересуется средневековой историей славянства.

Саливон А. Н.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Schuldt E.* Die slawische Keramik in Mecklenburg. Berlin, 1956.
2. *Schuldt E.* Slawische Töpferei in Mecklenburg. Schwerin, 1964.
3. *Schuldt E.* Behren-Lübchin. Eine spätslawische Burganlage in Mecklenburg. Berlin, 1965.
4. *Schuldt E.* Die slawische Burgen von Neu-Nieköhr/Walkendorf. Schwerin, 1967.
5. *Schuldt E.* Burgen, Bürcken und Strassen des frühen Mittelalters in Mecklenburg. Schwerin, 1975.
6. *Schuldt E.* Der altslawische Tempel von Gross Raden. Schwerin, 1976.
7. *Herrmann J.* Siedlung, Wirtschaft und gesellschaftliche Verhältnisse der slawischen Stämme zwischen Oder—Neisse und Elbe. Berlin, 1968.
8. Die Slawen in Deutschland. Ein Handbuch. Berlin, 1974.
9. *Schuldt E.* Die slawische Keramik von Sukow und das Problem der Feldberger Gruppe. — In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Jahrbuch 1963. Schwerin, 1964.

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ В ЛИТЕРАТУРЕ

Собственно этой теме в самых различных ее аспектах на чешском материале посвящены две книги известного чешского литературоведа Яромира Дворжака [1; 2].

Особенность первой книги в том, что взгляды Эдженка Неедлы на литературу и их эволюцию рассматриваются в неразрывной связи со всей творческой биографией выдающегося ученого, в связи с его развитием как историка и историка культуры, музыколога, общественного деятеля, марксистского идеолога и политика. О построении и характере этой работы позволяют судить составляющие ее разделы: I. Предисылки и начало работ Неедлы о новой чешской литературе. II. От революционного романтизма к марксизму. III. Эдженк Неедлы в Советском Союзе (1939—1945). IV. Коммунисты, наследники великих традиций чешского народа.

Показав истоки демократизма Неедлы, восходящие к возрожденческой традиции, которые во многом определяли и его отношение к современным событиям и культурной жизни, автор отмечает и то

немалое позитивное значение, которое имели для становления воззрений молодого ученого О. Гостинский и Ф. Х. Шальда. В трудах Гостинского Неедлы привлекал историко-социологический и психологический анализ, его суждения о реализме; в работах Шальды — присущие ему антибуржуазные тенденции и подход к литературному произведению как к эстетическому явлению. Однако в ряде моментов Неедлы с обоими не соглашался, в частности, с присущими первому идеалистическими суждениями о литературе и с недооценкой историзма вторым.

Важным периодом идейного развития Неедлы и становления его концепций о смысле и назначении чешской литературы прошлого и настоящего явились 20-е годы, когда после Великой Октябрьской революции ученый сближается с марксизмом. В этом отношении особенно показательна его деятельность как основателя и редактора журнала «Вар», одним из активных сотрудников которого был ученик Неедлы — поэт Иржи Волькер. «Вар» сыграл важную роль в утвержде-

нии пролетарского революционного искусства в Чехии, в выработке социалистических представлений о нем, диалектического подхода к литературному наследию и культурным традициям прошлого вообще. В книге говорится: «При решении вопроса об отношении к культурному наследию Неедлы и Волькер показали, что *традиционная логика* была для них лишь средством для понимания диалектики процесса развития» (с. 129).

Интересны и содержательны страницы книги, посвященные отношению Неедлы к «межвоенной авангарде». Под чешским авангардным искусством автор подразумевает искусство периода кризиса капиталистического общества, усилившего общественную революционность манифестацией художественных новаторств и экспериментов» (с. 220—221). Ученый приветствовал стремление авангардистов к синтетическому и динамическому отображению действительности и их критику в адрес буржуазии. В то же время он расхохотался с теми из них, кто провозглашал так называемый принцип «свободы» направо и налево, не понимая его объективно реакционной сущности.

Для советских читателей особый интерес представляет третий раздел книги Дворжака, в котором обстоятельно рассматриваются общественно-политическая, научно-педагогическая и литературная деятельность Неедлы в СССР. Ученый обращается к прогрессивным традициям литературного наследия Коллара, Неруды; к 25-летию Великой Октябрьской революции пишет работу «Из истории связей советской и чехословацкой литературы». Имея в виду возможное переиздание книги, отметим неточности, допущенные на с. 286. Мария Федоровна Андреева не была женой писателя Андреева, а Дом союзов, в котором проходило третье заседание Славянского комитета, находится за пределами Кремля. Среди лиц, с которыми Неедлы встречался в СССР и которым помогал в работе могла бы быть названа и писательница М. В. Ямщикова (Ал. Алтаев), автор исторического романа о Яне Жижке.

Рассматривая заинтересованное отношение Неедлы к современной ему прогрессивной чешской и словацкой литературе, его близость с Фучиком, Вацлаком, Штоллом, Урксом, Я. Дворжак показывает, сколь внимателен был всегда Неедлы к выдающимся чешским писателям прошлого. Большой интерес к литературному наследию XIX в. он проявлял в послевоенные годы. В книге отмечается то большое значение, которое имели в литературной жизни Чехословакии теоретические статьи Неедлы по вопросам культурного наследия. Пример бережного отношения к классикам и идущий от них прогрессивным традициям Неедлы подавал сам. У Немцовой, которую всегда волновали общечеловеческие проблемы, он ценил, в частности, утверждение высоких моральных качеств простых чешских людей, у Ирасека — демократическое понимание истории, прежде всего эпохи гуманизма и национального возрождения. Вкладом в марксистское осмысление литературного наследия яви-

лись отдельные работы и суждения Неедлы о Махе, Гавличке, Тыле, Галеке, Врхлицком, Светлой, Новаковой, Виттере и многих других писателях, что отражено в книге. Говоря об этой стороне исследования, нельзя все же не пожалеть, что в нем порой недостает конкретного рассмотрения отдельных работ Неедлы, посвященных тому или иному чешскому писателю, не всегда раскрыты понятия, с помощью которых автор характеризует его взгляды, в частности, значения нередко употребляемых применительно к концу XIX и к XX вв. терминов «творческий романтизм», «революционный романтизм».

В заключении книги автор пишет о своем стремлении показать, что Неедлы при освещении и оценке новой чешской литературы имел в виду не только ее историческую ретроспективу, но прежде всего перспективу. Думается, что в основном это удалось.

Вторая книга Я. Дворжака — это сборник его статей, опубликованных в 1955—1978 гг., посвященных литературно-культурному наследию прошлого и современной литературе в их взаимосвязи. В ней он уже сам выступает как продолжатель заложенных Неедлы традиций диалектического рассмотрения литературных явлений прошлого и настоящего.

В книгу вошли сообщения о неизвестных письмах Палацкого к Гавличку, статьи о патриотической и просветительской деятельности естествоиспытателя, историка и сатирического поэта Йозефа Франтишека Сметаны (1801—1871), о лирической поэзии национального возрождения, об отношении Божены Немцовой к Словакии.

Большой раздел книги посвящен истории развития чешской литературной критики. Он содержит статьи «Историзм и Эденек Неедлы», «Иржи Волькер и чешская социалистическая литература», «Иван Ольбрахт и Бедржих Вацлавак», «Ладислав Штолл в контексте чешской межвоенной марксистской критики», «Незаконная антифашистская деятельность Бедржиха Вацлавака и другие».

Книгу «Традиции и современность» завершают статьи, посвященные актуальным проблемам современной литературной жизни: «Искусство и идеологическая борьба», «За тесную связь литературы и жизни», «О традициях нашей государственности и чехословацко-советской дружбе», «Ведущая роль социалистических литератур» и др.

Прогрессивные литературные традиции XIX и XX вв., без которых, по словам автора, «сегодняшний день был бы лишен исторических предпосылок, сознания преемственности и перспективных возможностей» (с. 7) рассматриваются им с позиций их плодотворного развития в наши дни, обогащающего качественно новую современную чешскую литературу. Автор видит свою цель в том, чтобы обнаружить и осветить переходные рубежи, где «прошлое превращается в будущее». В этом — пафос второй книги, в этом ее явственно ощущаемая связь с книгой о Неедлы, ее позитивный смысл.

Книги Яромира Дворжака — заметное явление в современном чешском литературоведении. Если отдельные частные моменты покажутся в них в чем-то спорными или требующими уточнений, то это лишь будет стимулировать дальнейшую разработку большой и важной научной темы.

Л. К.

1. *Dvořák J. Zdeněk Nejedlý a nova česká literatura. Praha, 1978, 445 s.*
2. *Dvořák J. Tradice a současnost. Ostava, 1980, 364 s.*

СОВМЕСТНЫЕ ТРУДЫ СОВЕТСКИХ И ЮГОСЛАВСКИХ УЧЕНЫХ

В последнее время советскими и югославскими учеными проведена значительная совместная работа по исследованию русско-югославских литературных связей. В результате сотрудничества между Матицей Сербской и Институтом славяноведения и балканистики АН СССР, продолжающегося и в настоящее время, создано две книги (общая редколлегия: Ю. Беляева, Ж. Бошков, Р. Доронина, Ж. Милисавец, С. Никольский и М. Стойнич). Так как первая книга посвящена более позднему периоду, целесообразно начать со второй [1], в которую вошли как статьи, дающие «общий взгляд на отдельные тематические, литературно-исторические и эстетические соответствия в сербской и русской литературах» (с. 5), так и освещающие конкретные связи и типологические параллели между произведениями отдельных писателей. В статьях анализируется творчество наиболее известных представителей обеих литератур, а также отдельные вопросы истории русской и сербской журналистики.

В статье Ю. Д. Беляевой «Сербские мотивы в русской литературе первой половины XIX в.» отмечается усиление интереса к национально-освободительному движению Сербии, ее истории и культуре в кругах русской общественности, связанное с бурными историческими событиями того времени (сербские восстания, русско-турецкие войны). В «Московском телеграфе», «Телескопе» и других журналах печатались статьи по истории и географии Сербии, ее литературе и фольклору. В это время укрепляются и культурные связи: по Сербии путешествуют Н. И. Надеждин, О. М. Бодянский, в Россию приезжают В. Караджич, П. Негош, С. Милутинович Сарайлия. Большой интерес в России привлекла деятельность В. Караджича (его сборники народных песен и др.). Все это обусловило появление сербских мотивов в творчестве русских писателей (А. И. Одоевский — «Славянские девы», М. Ю. Лермонтов — «Фаталист», А. Ф. Вельман — «Бессмертный кашей», А. Н. Майков — «Сон королевича Марко» и др.). Гуманистическим идеалам передовой русской литературы была близка мужественная борьба сербов за свободу.

С. Пенчич в статье «А. С. Пушкин и сербское народное творчество» придерживается той точки зрения, что «Песни западных славян» Пушкина не просто перевод известной мистификации П. Мери-

ме («La Guzla»), но ее поэтическая переработка на основе славянского материала и, прежде всего, песен, собранных В. Караджичем. Южнославянские мотивы сыграли особую роль в творчестве Пушкина, способствовали созданию им «неизвестного в русской поэзии образца совершенно нового стиха» (с. 56).

Статья М. Стойнич «А. С. Пушкин и Бранко Радичевич» посвящена типологическому сходству творчества этих поэтов, близости поэтических образов, тем, героев и приемов, которые характерны для романтизма. Делается вывод, что «произведения этих двух поэтов сходятся и в общих романтических характеристиках, и в движении от романтизма к реализму, а также по типу отступлений от устоявшихся канонов романтического искусства» (с. 71).

В статье Г. Добрашиновича «Вук и Николай Иванович Надеждин» исследуется история взаимоотношений известного русского литератора, критика и этнографа Н. И. Надеждина и Вука Караджича (совместные путешествия, переноска). Н. И. Надеждин — редактор «Телескопа» — способствовал популяризации сербской истории и культуры в России.

В статье М. Гольберга «Сима Милутинович Сарайлия и русская литература» рассматриваются не только непосредственные контакты Сарайлии с русскими писателями, учеными и общественными деятелями, но и русская тема в творчестве поэта, а также определенные типологические сходжения его творчества с некоторыми явлениями русской литературы XVIII — первой половины XIX в. Показана большая роль С. Милутиновича в развитии сербско-русского книгообмена.

Исследуя лексические совпадения поэмы П. Негоша «Луч микрокосма» с русским прозаическим переводом поэмы Дж. Мильтона «Потерянный рай», их сюжетную близость, Ж. Бошков делает убедительный вывод об использовании Негошем этого перевода во время работы над своей поэмой.

Трансформации югославянского фольклорного мотива вампиризма в западноевропейской и русской литературах посвящена интересная статья А. Илюшина «Об одном югославянском мотиве в русской литературе».

И. Лещиловская в статье «Русская периодика первой трети XIX в. о сербской литературе» анализирует обширный

материал — русские журналы с 1800 по 1839 г. Примечательно, что хотя сербские материалы (литературно-критические обзоры, образцы сербской народной поэзии) появлялись на страницах как прогрессивных, так и реакционных изданий, по-настоящему объективная информация и критика давалась лишь в передовых журналах, таких, как «Московский телеграф», «Соревнователь...» и др. В целом «русская журналистика первой трети XIX в. положила начало регулярному ознакомлению русского общества с литературной жизнью сербов» (с. 188).

Популяризации сербской литературы и культуры способствовал выходявший в Варшаве журнал «Денница», издаваемый русским литературоведом и славянофилом П. Дубровским. (М. Живанчевич. «„Денница“ П. П. Дубровского и сербская литература»).

Обзор произведений русской литературы в журнале «Летопис Матице српске» дается в статье Ж. Милисавца «Русская литература в „Летописи Матицы сербской“ в первой половине XIX в.».

О жизни и деятельности сербского ученого, критика и общественного деятеля Теодора Павловича, об обстоятельствах его награждения золотой медалью русской Академии наук рассказывается в очерке Ж. Младеновича «Награждение Теодора Павловича русской медалью».

Другая совместная работа советских и югославских ученых [2] посвящена не только русско-сербской проблематике, но и связям русской литературы с литературой других народов Югославии.

В статье М. Стойнич «Сербский реализм и русская литература» разбирается специфика возникновения сербской реалистической литературы и роль русской критики и русских писателей-реалистов в ее дальнейшем развитии. Автор справедливо отмечает, что «реалистический тип творчества исключает в сфере литературных связей грубое подражательство» (с. 7). Речь идет здесь о «подлинно художественных творениях», литературная общность которых чаще всего выражается в сходстве мировоззренческих и творческих принципов писателей. Давние исторические связи двух стран, родственный язык, единая вера облегчали восприятие русской литературы в Сербии. Популярности русской литературы, утверждению идей русского реализма, русской эстетической мысли того времени способствовала деятельность великого сербского революционера-демократа, критика и философа Светозара Марковича, а также сербских писателей, переводивших русские литературные произведения.

Восприятию русской реалистической литературы в Хорватии посвящена работа А. Флакера «Хорватская литература XIX в. и русский реализм». Хорватская проза 40-х — 50-х годов состояла главным образом из занимательных рассказов об историческом прошлом южных славян, об их борьбе с внешними врагами. Хорватской интеллигенции были близки идеи русских славянофилов о славянской общности, едином славянстве, частью которого сознавали себя и хорваты. Поэтому Гоголь был известен более как автор «Тараса Бульбы», а появление

в 60-х годах «Мертвых душ», «Шинели» и «Ревизора» не привлекло внимания ни хорватской критики, ни писателей. Появившиеся в 60-е годы переводы романов И. С. Тургенева («Рудин», «Дворянское гнездо») заполнили известный пробел в хорватской литературе; в 80-е годы более интенсивно переводился русский роман о «лишнем человеке», послуживший образцом для создания особого типа хорватского романа, в центре которого находился образ молодого интеллигента, борца за общественный прогресс. Произведения Тургенева были особенно популярны и как будто заслонили от читателей других русских писателей. Исследователь отмечает, что «уже в начале 90-х годов начинается процесс, который увлечет хорватскую литературу от основных моделей европейского реализма», однако воздействие русского реализма сохраняется (с. 34).

Исследованию основных направлений оценки сербской литературы в русском дореволюционном славяноведении и литературной критике посвящена обширная статья Ю. Д. Беляева «Сербская литература в русской науке и критике последней четверти XIX — начала XX в.». Это первая работа, посвященная данному вопросу. Изучение русской периодики того времени, архивных материалов и трудов русских ученых-славистов позволяет увидеть возросший интерес к сербской литературе: появляются широкие обобщающие исследования югославянских литератур, их национальной специфики, связей с русской литературой, роли в мировом литературном процессе. Труды русских ученых-славистов получают высокую оценку в Сербии и прочно входят в сербский научный обиход.

В статье М. Милидрагович «Гоголь у сербов во второй половине XIX в.» выделяются два этапа восприятия Гоголя в Сербии: 50—60-е годы — время господства романтизма в сербской литературе, когда одним из самых популярных гоголевских героев был Тарас Бульба, ассоциировавшийся с образом Краевича Марко (с. 85), и 70-е годы — начало утверждения реализма, когда Гоголь понимается прежде всего как критик и сатирик. Оба этапа восприятия творчества Гоголя в Сербии закономерно связаны с фазами развития самой сербской литературы от романтизма к реализму.

Большой интерес вызывает статья Р. Ф. Дорониной «Некоторые типологические схождения в реализме Сремаца и Гоголя», освещающая сложные вопросы типологии и основных тенденций развития сербского реализма. Изучение сербского реализма осложняется еще тем, что «его развитие происходило в условиях ускоренного литературного процесса» (с. 91). Автор исследует проблему влияния русской литературы на формирование сербского реализма, отмечая при этом, что «прямые непосредственные контакты и воздействия шли нередко от глубинных, не всегда осознанных точек соприкосновения сербского реализма с русским, обнаруживая сходные в типологическом отношении процессы и явления» (с. 95).

Большое значение для развития сербской реалистической литературы имело

творчество И. С. Тургенева, которое с начала 60-х годов пользовалось большой популярностью в Сербии. (Д. Перович. «Тургенев в сербской литературе»). Усиление внимания к Тургеневу связано с деятельностью сербской Омладины, с первым появлением и восприятием идеи социализма в Сербии. Творчество Тургенева оказало влияние на ряд сербских писателей-реалистов и «помогало более динамичному развитию реализма в сербской литературе» (с. 126).

В статье Ж. Бопкова «Лаза Лазаревич и русская литература» выделяются четыре фазы в эволюции связей сербского писателя-реалиста с русской литературой — от перевода отдельных произведений русской классики (Гоголь, Чернышевский) через увлечение творчеством Тургенева к высокой оценке Л. Н. Толстого, сменившейся в последний период творчества Лазаревича критическим отношением к новым произведениям Толстого («Крейцеров соната»).

Творчеству Ксавера Шандора Джальского посвящена статья М. Живанчевича «Джальский и Тургенев». Для хорватской литературы 70—80-х годов XIX в. характерно сильное русское воздействие. Хорватским писателям были хорошо известны произведения Пушкина, Гоголя, Некрасова и особенно И. С. Тургенева. Влияние Тургенева испытал и К. Ш. Джальский, известный даже как «хорватский Тургенев». М. Живанчевич освещает биографию, творческий путь и основные аспекты творчества Джальского в связи с произведениями Тургенева.

Русская литература имела особое значение для семьи Иличей. (М. Павич. «Русская литература в семье Иличей».) На творчество членов этой семьи (прежде всего Йована и Воислава), «которая в конце XIX в. явилась реформатором сербского стихосложения» (с. 320), повлияли произведения Державина, Пушкина и Шевченко. Знание русского языка способствовало также их знакомству с произведениями других литератур — английской, американской и немецкой.

Влияние русского реалистического романа на развитие сербской литературы особенно ярко проявилось в творчестве С. Ранковича и Б. Станковича (М. Бабович. «Русский роман и творчество Светлика Ранковича и Бориса Станковича»). Воздействие русского романа на творчество С. Ранковича было довольно многообразным — как на лексико-грамматическом уровне, так и на уровне творческой манеры, художественных приемов, а также в критическом отношении к действительности. Большое значение для Ранковича имели также мировоззренческие принципы, философия творчества, взгляд на человека у Толстого и Достоевского, постановка ими «проклятых» вопросов, проблем семьи и брака, морали, церкви и т. д.

Творчество крупного сербского романиста Б. Станковича было тесно связано с Достоевским, что видно и в выборе героев, и в восприятии некоторых элементов «его концепции человека и жизни» (с. 190). Станкович обогатил свое творчество, участь у русского романиста глупо-

кому проникновению в психологию человека.

«Српски книжевни гласник» и русская литература — статья сербского исследователя Ж. Милисавца, посвященная выходившему с 1901 г. до начала первой мировой войны журналу, который сыграл заметную роль в ознакомлении сербской общественности с произведениями русской классики, с культурной и общественной жизнью России.

В 90-е годы XIX в. происходит становление «словенского модерна». Этот период связан с именами И. Цанкара, О. Жупанчича, Д. Кетте и Й. Мурна, чье творчество испытало воздействие русской литературы. Характер творчества «одного из самых тонких и проникновенных лирических талантов в словенской литературе» (с. 215) Й. Мурна-Александрова подробно анализируется в большой статье М. И. Рыжовой «Йосип Мурн и русская литература».

О деятельности русского ученого и педагога Н. Н. Бахтина, связанной с популяризацией словенской литературы в России, рассказывается в статье Е. И. Рябовой «Антология Н. Н. Бахтина „Словенские поэты“».

В статье Ш. Барбарича «Тургенев в переводах на словенский язык» подчеркивается, что «в период становления реализма произведения Тургенева обогатили словенскую литературу новыми выразительными средствами, способствовали развитию принципов реалистического творчества» (с. 283).

В статье Б. Крефта «Иван Цанкар и русская литература» исследуется отношение словенского писателя И. Цанкара к русской литературе. Наиболее близким писателю было творчество Гоголя, Достоевского и Толстого, которых он называл «пророками и евангелистами». Нельзя утверждать, что русские писатели прямо воздействовали на творчество Цанкара, но они указали ему путь «высокохудожественного и глубоко гуманного искусства» (с. 302).

Отношения Л. Н. Толстого с южными славянами отражены в статье И. М. Порочкиной «Сербские, хорватские и словенские книги в личной библиотеке Л. Н. Толстого».

Несмотря на то, что не все положения статей являются бесспорными, необходимо отметить большую ценность изученных проблем для истории двух литератур. Вышедшие труды являются важным этапом на пути совместного изучения русско-югославских литературных связей. Они несомненно будут способствовать дальнейшему обогащению наших знаний в исследуемых областях, а также укреплению и развитию взаимного сотрудничества ученых СФРЮ и нашей страны.

Белов В.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сербско-русские литературные связи. Первая половина XIX в. Новый Сад, 1980 (на сербскохорватском языке).
2. Русско-югославские литературные связи. Вторая половина XIX — начало XX в. М., 1975.

Замечательный художник Карел Пуркине занимает видное место в истории чешской культуры 50—60-х годов XIX в., когда завершился в основных чертах процесс консолидации чешской нации, а освободительное движение после временного спада, вызванного поражением революции 1848—1849 гг., вновь набирало силу, все более и более расширяясь и вовлекая в свою орбиту в качестве новой самостоятельной силы рабочий класс. Художник чутко улавливал происходившие перемены, осмысляя их в своем творчестве. В 1860 г., в обстановке нового общественного подъема К. Пуркине в картине «Кузнец-политик» запечатлел человека труда — активного участника освободительной борьбы. Не только кистью, но и пером публициста боролся К. Пуркине за идеи прогресса, за реализм и народность чешской национальной культуры. И вполне закономерным является обращение автора рассматриваемой монографии к анализу многоаспектного творческого наследия К. Пуркине.

«Творчество К. Пуркине, — пишет во введении к своей книге Н. А. Прокофьева, — следует рассматривать не в узких искусствоведческих рамках, а на широком фоне исторического и культурного развития Чешских земель, обращаясь к сравнению его творчества с другими мастерами эпохи и прослеживая как единство, так и неповторимость его индивидуальных черт» (с. 13). Подходя к освещению жизни и деятельности К. Пуркине с историко-культурных позиций, автор строит изложение по проблемно-тематическому принципу, привлекая в необходимых случаях сопоставимый материал по истории чешской общественной мысли и литературы той эпохи, о которой идет речь в монографии.

Книга состоит из введения, трех глав, заключения и приложения, включающего примечания, список иллюстраций и указатель имен. Первая глава носит вводный характер и посвящена ведущим тенденциям и характерным особенностям развития чешского изобразительного искусства эпохи национального Возрождения. Во второй и третьей главах рассматривается соответственно художественное творчество и литературно-критическое наследие К. Пуркине.

Обращение к эволюции живописи эпохи национального Возрождения является для автора необходимой предпосылкой раскрытия истоков художественного видения К. Пуркине. Это тем более важно, что, как подчеркивает Н. А. Прокофьева, в чешской буржуазной искусствоведческой литературе долгое время бытовали неверные и тенденциозные представления о творчестве К. Пуркине как художника якобы оторванного от национальной почвы. В первой главе мы находим общую оценку истории чешской живописи конца XVIII — первой половины XIX в. и краткие, но емкие характери-

стики мастеров этих десятилетий — В. Амбрози, Я. Ягна, Л. Коля, Ф. Прохазки, А. Балцера, К. Поста, Ф. Ткадлика, А. Махека, А. и Й. Манеса, Й. Навратила, Я. Чермака и других художников, весьма различных по манере и по направлениям, к которым они примыкали, но сыгравших заметную роль в формировании национальной школы живописи. Н. А. Прокофьева, в частности, специальное внимание обращает на связь творчества многих из этих мастеров с общественно-культурными событиями тех десятилетий. Так, она отмечает отражение в их творчестве историко-патриотических тенденций, называя, например, А. Махека первым художественным историографом чешского народа (с. 46). «Этого чешского мастера, — пишет она, — можно считать основоположником национальной школы чешской живописи» (с. 61). Знакомясь с этой главой, читатель книги получит наиболее общее и достаточно широкое представление о той духовной среде, в которой происходило становление мировоззрения Карела Пуркине, сына одного из крупнейших деятелей чешского национального Возрождения и ученого мирового значения Яна Эвангелиста Пуркине.

Освещению творческой биографии К. Пуркине посвящена основная часть второй главы, в ней рассказывается и о годах его обучения в Пражской академии художеств, в мюнхенской мастерской художника О. Берделли, и кратковременном пребывании в парижском ателье французского художника Т. Кутюра. Обогащенный знакомством с современным ему изобразительным искусством Германии и Франции и с опытом старых мастеров, К. Пуркине возвращается в Прагу, где и развертывается его талант живописца и графика. Хотелось бы отметить интересные наблюдения Н. А. Прокофьевой относительно того влияния, которое имели на становление Пуркине-реалиста занятия физиологией и естественным, стоявшими в центре внимания его отца. «И отца и сына, — отмечает автор, — занимают одни и те же вопросы, но разрешение их ведется в различных аспектах: Ян Пуркине — в плане научно-философском; Карел Пуркине — в художественно-эстетическом» (с. 88). Другой существенный аспект, на который обращает внимание Н. А. Прокофьева, это использование К. Пуркине опыта европейских мастеров и чешских художников предшествующего периода (например, Й. Навратила и Й. Манеса). Это наблюдение со всей очевидностью показывает тесную связь художественного мышления К. Пуркине с традициями передовой чешской живописи эпохи национального Возрождения (с. 93).

Совершенно иную, хотя, разумеется, и тесно связанную с отмеченной, грань творчества К. Пуркине составляют его литературно-критические выступления по

вопросам национального изобразительного искусства. Этот круг вопросов рассматривается в заключительной главе монографии Н. А. Прокофьевой. Автор прослеживает суждения художника о роли и назначении Пражской академии художеств, о задачах художественных объединений 1860-х годов, а также анализирует его оценку современной чешской живописи. В этой связи Н. А. Прокофьева характеризует творчество таких современников Пуркине, как Г. Манес, В. Барвициус, А. Бубак и др. Художественно-публицистические выступления К. Пуркине автор связывает с попытками создания новой теории искусства, предпринимавшимися такими деятелями «Умелецкой беседы», как В. Галек, Ян Неруда и К. Сабина (с. 188). Заслуживают внимания факты русско-чешского сотрудничества в области художественной культуры в 1860-х годах, приводимые в монографии (с. 190—191). К. Пуркине, ратовавший за реализм и народность в искусстве, призывал к его союзу с «сестрой наукой» (с. 199), считая, что такой союз будет способствовать прогрессу национальной культуры в целом. Необычайно современно звучат приводимые в монографии мысли К. Пуркине об охране памятников истории и культуры, о широкой пропаганде национального изобразительного искусства и использовании его во всех сферах общественной жизни, о доступности художественных ценностей для народа (с. 200—201, 211, 223, 227 и др.). И можно согласиться с автором, что литературно-критическая деятельность К. Пуркине сыграла большую роль в становлении чешского национального искусствоведения.

Наряду с несомненными достоинствами книги, в ней встречаются спорные утверждения и неточные формулировки. Так, едва ли можно согласиться с автором, что глубокий кризис чешского искусства в начале XIX в. был вызван ослаблением могущества церкви и потерей «экономических привилегий чешским дворянством», в лице которых мастера лишились заказчиков, а только нарождавшийся класс буржуазии еще не был в состоянии оказать национальному искусству поддержки (с. 18). Если не касаться подробнее оценки социальных структур той эпохи (о какой потере экономических привилегий дворянства в Чешских землях, а отнюдь не «чешского дворянства», можно говорить, если главная привилегия — барщина — сохранялась до 1848 г.!), то лишь проблемой заказчиков уровень искусства объяснить нельзя. Тем более, что об исчезновении старых и об отсутствии новых заказчиков вообще не следует писать столь категорически: достаточно вспомнить о заказчиках из городской мещанской, а не дворянской среды чешского художника середины XVIII в. Норберта Грунда. Из отдельных неточностей, встречающихся в книге, отметим лишь одно, достаточно распространенное в исторической литературе — неверное утверждение, будто бы в 1851 г. «премьером Австрии стал Бах» (с. 84). Монография Прокофьевой, хорошо изданная и богато иллюстрированная, представляет собой удачный опыт историко-культурной интерпретации творчества Карела Пуркине.

Мильников А. С.



СЕССИЯ КОМИССИИ ИСТОРИКОВ СССР И СФРЮ

В 1981 г. в Волгограде состоялась научная сессия Комиссии историков СССР и СФРЮ, посвященная 40-летию начала вооруженной борьбы народов Советского Союза и Югославии против фашизма.

Открывая сессию, председатель советской части Комиссии акад. А. Л. Нарочницкий и председатель югославской части Комиссии акад. М. Апостолски подчеркнули чрезвычайную важность и актуальность всестороннего исследования Великой Отечественной войны Советского Союза и народно-освободительной войны в Югославии, когда народы обеих стран героически боролись против общего врага — фашизма, за дело свободы и национальной независимости, за общие идеалы социализма. Секретарь Волгоградского обкома КПСС И. А. Литвинов сердечно приветствовал советских и югославских участников сессии, пожелал им успехов в работе. Он отметил глубокую символичность проведения научной сессии Комиссии историков СССР и СФРЮ, посвященной 40-летию начала Великой Отечественной войны Советского Союза и народно-освободительной войны в Югославии, в городе-герое Волгограде, у стен которого произошло самое грандиозное сражение, ставшее поворотным пунктом в ходе всей второй мировой войны. В исторической битве на Волге проявилось беспримерное мужество и героизм советского народа, внесшего решающий вклад в разгром фашизма. Совместная борьба советского и югославского народов в годы минувшей войны заложила глубокие основы сотрудничества СССР и СФРЮ во имя интересов мира и социализма.

Приветственные телеграммы в адрес сессии с пожеланиями успешной работы направили вице-президент АН СССР акад. П. Н. Федосеев и бывший командующий Дунайской военной флотилией, участвовавшей в боях за освобождение Югославии, вице-адмирал Г. Н. Холостяков.

На сессии были заслушаны и обсуждены десять докладов советских и десять докладов югославских ученых, посвященных различным аспектам истории Великой Отечественной войны Советского Союза и народно-освободительной войны в Югославии, боевого содружества народов обеих стран в 1941—1945 гг.

По одному докладу с каждой стороны было посвящено рассмотрению общей

проблемы места и роли СССР и Югославии во второй мировой войне. А. И. Бабин (Институт военной истории МО СССР) в докладе «Советский Союз во второй мировой войне» раскрыл решающий вклад советского народа в победу над фашизмом. Анализируя конкретные данные соотношения сил на различных фронтах второй мировой войны, докладчик показал, что судьба войны решалась прежде всего на советско-германском фронте, где было разгромлено подавляющее большинство войск противника. В докладе было подчеркнуто, что победы СССР в войне, представлявшие собой главный фактор поражения гитлеровской Германии и возглавляемого ею фашистского блока, явились результатом политической прочности Советского государства, руководимого КПСС, технико-экономической мощи СССР, патриотизма и самоотверженности, боевого и трудового героизма советского народа, высокого уровня советского военного искусства. Акад. М. Апостолски в докладе «Югославия во второй мировой войне» охарактеризовал основные черты и этапы развития народно-освободительной войны в Югославии 1941—1945 гг., рассмотрел ее значение в общей борьбе народов, государств антигитлеровской коалиции против фашизма. Докладчик подчеркнул, что, начиная с востания 1941 г., организованного и возглавленного КПЮ, Югославия превратилась по существу, в постоянный театр военных действий, которые во все возрастающем масштабе активно велись партизанскими силами и выросшей из них Народно-освободительной армией Югославии (НОАЮ). В результате этот театр, являвшийся до высадки западных союзников в Италии в 1943 г. единственным в Европе помимо основного — советско-германского фронта, приковывал к себе весьма значительное, непрерывно увеличивавшееся число вражеских войск, а борьба НОАЮ стала существенным фактором в военных усилиях антигитлеровской коалиции, в победе над фашизмом.

Другая поставленная на сессии общая проблема, по которой также было сделано по одному докладу с каждой стороны, касалась методологии исследования истории второй мировой войны. В. Т. Логин (Институт военной истории МО СССР) посвятил доклад методологическим основам

советской историографии второй мировой войны. Он, в частности, охарактеризовал марксистско-ленинские методологические принципы, на которых построено такое фундаментальное исследование как созданная советскими историками 12-томная «История второй мировой войны». В докладе «Методологические проблемы изучения истории второй мировой войны» П. Дамьянович (Белград) рассмотрел ряд вопросов, связанных с определением характера второй мировой войны, оценкой различных социально-классовых, политических, национальных и иных объективных и субъективных факторов, обусловивших направление развития событий как на международной арене, так и в отдельных странах в период возникновения и в ходе войны.

Специальному рассмотрению на сессии подверглись внешнеполитические и дипломатические аспекты Великой Отечественной войны Советского Союза и народно-освободительной войны в Югославии, особенно в связи с участием обеих стран в антигитлеровской коалиции. Эта проблематика освещалась в докладах В. Я. Сиполса (Институт истории СССР АН СССР) — «Внешняя политика СССР — важный фактор обеспечения победы над фашистским агрессором» и В. Кляковича (Белград) — «Югославия и борьба антигитлеровской коалиции».

Наибольшее количество докладов было посвящено различным проблемам сотрудничества народов СССР и Югославии в совместной борьбе против фашизма в годы войны. Здесь определились две основные проблемы, вокруг которых сконцентрировались доклады. Первая из них — боевое взаимодействие и военное сотрудничество между Советским Союзом и югославским народно-освободительным движением (НОД), а затем новой, революционной Югославией. Данная проблема в целом освещалась в зачитанном на сессии (докладчик не смог принять в ней участия) докладе А. В. Антосяка (Институт военной истории МО СССР) «Советско-югославское боевое сотрудничество в годы второй мировой войны» и докладе У. Костича (Белград) «Боевое сотрудничество Народно-освободительной армии Югославии и Красной Армии во второй мировой войне. 1941—1945 гг.». При этом было отмечено, что фактическое боевое взаимодействие между СССР и НОД Югославии началось с первых дней народно-освободительной войны в Югославии — оно выразилось в борьбе против общего врага, во взаимной солидарности народов Советского Союза и Югославии. Позже, когда сложились необходимые условия, когда советско-германский фронт стал приближаться к Югославии, было установлено непосредственное военное сотрудничество между Красной Армией и НОАЮ. Его наиболее яркая страница — совместное проведение Белградской операции, в ходе которой советские войска приняли прямое участие в освобождении восточной части Югославии. Советские и югославские войска осуществляли затем стратегическое взаимодействие на завершающем этапе войны зимой — весной 1945 г. Составной частью

военного сотрудничества СССР и новой Югославии явилась, рассматриваемая, в частности, в докладе А. В. Антосяка, советская помощь НОАЮ в 1944—1945 гг. вооружением, боеприпасами, снаряжением, медикаментами и другим материалом, подготовкой необходимых военных кадров, формированием на территории СССР югославских воинских частей. Несколько докладов было посвящено отдельным аспектам советско-югославского боевого сотрудничества. Н. Г. Андроников (Институт военной истории МО СССР) проанализировал взаимодействие советских войск и НОАЮ в Белградской операции, Т. С. Бушуева из того же института сделала доклад «Советские люди в Югославии и югославские граждане на Украине и в Белоруссии в освободительной войне с фашизмом», Д. Боровчанин и Н. Шарац (Сараево) представили доклад «Положение на восточном фронте и развитие народно-освободительного движения в Югославии на рубеже 1942—1943 гг.». Специальное внимание историографии данной проблемы уделила Н. В. Васильева (Институт военной истории МО СССР) в докладе «Советско-югославское боевое сотрудничество во второй мировой войне в советской военно-исторической литературе».

Вторая крупная проблема, которой был посвящен ряд докладов о сотрудничестве народов СССР и Югославии в годы второй мировой войны, — политическое взаимодействие между Советским Союзом и югославским НОД, а затем новой Югославией. Ее рассмотрение явилось темой доклада Л. Я. Гибианского и Г. М. Славина (Институт славяноведения и балканистики АН СССР) «Советский Союз и народно-освободительная война в Югославии (1941—1945)». На большом фактическом материале докладчики раскрыли проявившуюся с самого начала интернациональную взаимосвязь между борьбой югославских народов за национальное и социальное освобождение и Великой Отечественной войной Советского Союза. В докладе прослежено, как СССР, используя все возможности, имевшиеся у него на каждом этапе войны, неуклонно оказывал морально-политическую, пропагандистскую, дипломатическую поддержку народно-освободительной войне и развернувшейся в ее рамках революции в Югославии. Советский Союз в различных формах противостоял политике западных союзников, враждебной югославской революции. Советская поддержка явилась важным фактором, содействовавшим утверждению и международному признанию новой Югославии. Обстоятельный анализ советских усилий в антигитлеровской коалиции с целью упрочения позиций НОД, а затем новой Югославии был дан в докладе В. В. Зеленина (Институт славяноведения и балканистики АН СССР) и В. Е. Романова (Институт истории СССР АН СССР) «Действия СССР на международной арене в поддержку югославского народно-освободительного движения». Ряд конкретных аспектов этой проблемы рассматривался в докладе «Высокая оценка советской общественностью борьбы народов и на-

родностей Югославии в годы второй мировой войны», с которым выступил Р. Терзиоски (Скопье), сосредоточивший внимание на освещении народно-освободительной борьбы в Югославии советской печатью 1941—1945 гг., и в докладе Н. Поповича (Белград) «Югославия и Всеславянский комитет во второй мировой войне».

Важное место на сессии заняли вопросы исследования югославской революции, возникновения и утверждения революционной власти и новой государственности, создания НОАЮ. Этому посвящали доклады Р. Кончар (Нови Сад) — «Народно-освободительная война как форма социалистической революции», Д. Живкович (Белград) и В. Ивановски (Скопье) — «Создание и развитие революционной власти в Югославии (1941—1945)», Н. Анич (Белград) — «Вооруженные силы народно-освободительной войны в Югославии». Они подчеркнули, что слияние борьбы за освобождение от фашизма с борьбой за революционное преобразование общества явилось важнейшей основой победы в народно-освободительной войне, привело к возникновению социалистической Югославии.

В докладе М. М. Загорюлько (Волгоградский университет) рассматривался срыв экономических планов фашистской Германии на временно оккупированной территории СССР.

На сессии развернулась оживленная дискуссия, в которой выступили академики А. Л. Нарочницкий и М. Апостол-

ски, другие названные выше советские и югославские участники * сессии, чл.-корр. АН СССР П. В. Волобуев, А. Н. Ратников (Институт военной истории МО СССР), О. А. Ржешевский (Институт всеобщей истории АН СССР), М. И. Семиряга (Институт международного рабочего движения АН СССР). С интересом были заслушаны советские ветераны войны, принимавшие участие в народно-освободительной борьбе в Югославии, — бывший заместитель начальника Военной миссии СССР в Югославии генерал-майор А. П. Горшково, бывшие летчики Герой Советского Союза и Народный Герой Югославии А. С. Шорников, Ф. С. Румянцев, А. В. Кузьмин. Они, как и М. Апостолски, командовавший в годы войны Народно-освободительной армией и партизанскими отрядами в Македонии, поделились воспоминаниями о советско-югославском боевом содружестве в борьбе против фашизма.

Подводя итоги сессии, академики А. Л. Нарочницкий и М. Апостолски отметили высокий уровень и плодотворный характер состоявшегося научного обсуждения поднятых проблем. Они выразили уверенность, что совместные усилия ученых СССР и СФРЮ будут способствовать дальнейшему развитию исследований по истории героической борьбы народов обеих стран в годы второй мировой войны против общего врага, за свободу, независимость и социализм.

Гибанский Л. Я.

В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ СОВЕТЕ ПО ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ ПРИ ИНСТИТУТЕ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ И БАЛКАНИСТИКИ АН СССР (ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ)

В 1981 г. было проведено шесть заседаний Совета, на которых обсуждались заявления соискателей и представленные ими диссертации и авторефераты, состоялись защиты одной докторской и трех кандидатских диссертаций. На этих защитах были обстоятельно рассмотрены проблемы научной актуальности исследуемой диссертантами проблематики, новизна и аргументация полученных результатов исследования, использованные авторами источники и вопрос о соответствии названной темы профилю совета. Члены Совета принимали активное участие в защитах диссертаций, выступая в качестве официальных оппонентов или высказываясь по поводу проектов заключения Совета по той или другой работе. Наглядным показателем подробности и широкой гласности обсуждения диссертаций является то обстоятельство, что по представленным работам были заслушаны отзывы не только официальных, но и неофициальных оппонентов, на заседаниях присутствовали многие специалисты, сотрудники разных научных учреждений (не только

институтов Академии наук СССР, но и вузов: МГУ и др.).

Рассмотренные Советом в 1981 г. диссертации по своей тематике соответствуют основным направлениям изучения советскими историками наиболее важных (в научном и политическом плане) проблем истории народов Центральной и Юго-Восточной Европы, их многовековых и разносторонних связей и взаимоотношений с народами СССР. Показательно, что из защищенных в истекшем году четырех диссертаций две посвящены анализу вопросов новейшей истории (после 1917 г.), одна — процессам второй четверти XIX в., а в последней обосновывается и рассматривается теоретико-количественный подход к историческим явлениям прошлого на материале средневековых источников (Византии XIII—XIV вв.).

В кандидатской диссертации М. Н. Черных на тему «Проблемы советско-польских отношений 1918—1921 гг. в трудах Ю. Мархлевского» (научный руководитель проф. И. И. Костюшко, офици-

альные оппоненты проф. С. М. Стедкевич, канд. ист. наук В. С. Неволлина) освещается творческое наследие этого выдающегося деятеля польского и международного коммунистического и рабочего движения, изучены важные проблемы взаимоотношений Советского государства и буржуазной Польской Республики, вокруг которых ведется острая борьба в историографии. Диссертант впервые исследовала всю систему взглядов и выводов по истории советско-польских отношений в 1918—1921 гг., которые содержатся в многочисленных работах видного польского революционера Ю. Мархлевского, тесно связанного с В. И. Лениным и Г. В. Чичерпиным в эти годы складывания советско-польских межгосударственных отношений. Убедительным свидетельством аргументированности результатов проведенного исследования является тот факт, что автор выявил и ввел в научный оборот целый ряд работ Мархлевского и обосновал его приоритет в польской марксистской историографии, посвященной данной проблематике. Концепция Мархлевского по истории советско-польских отношений того периода, как наглядно показано в диссертации, основывалась на глубоком понимании ленинской внешней политики Советского государства, которая отвечала коренным интересам советского и польского народов.

В кандидатской диссертации В. И. Прибылова «Польша и Лига Наций в 1919—1926 гг. (Создание Лиги Наций, гданьская проблема, вопросы разоружения и безопасности)» (научный руководитель — проф. И. И. Костюшко, официальные оппоненты д-р ист. наук В. Я. Сиполс, канд. ист. наук Р. М. Илюхина) рассмотрен другой круг внешнеполитических вопросов первой четверти XX в., связанных с участием буржуазной Польши в сложных международных отношениях 20-х годов. В работе раскрываются малоизученные или вовсе не разработанные в литературе аспекты взаимоотношений Польши и Лиги Наций, а именно — место Лиги Наций в политических концепциях буржуазной польской дипломатии, позиции Лиги Наций и Польши по гданьскому вопросу, проблемам разоружения и безопасности. Проведенное на широком историческом фоне изучение данных вопросов позволило автору осветить политику и тактику империалистических держав, использовавших в своих целях Лигу Наций, выяснить мотивы и тактику действий польской дипломатии в Лиге Наций, проанализировать деятельность Лиги Наций и правящих кругов Польши, противоречившую жизненным интересам польского народа и имевшую несомненную антисоветскую направленность.

Кандидатская диссертация Э. А. Джанаридзе «Общественно-политическое движение в Дунайских княжествах в 30—40-х годах XIX в.» (научный руководитель — д-р ист. наук В. Н. Виноградов,

официальные оппоненты — д-р ист. наук А. А. Язькова, д-р ист. наук Т. М. Исламов) посвящена важной проблематике — предпосылкам революции 1848 г. в Дунайских княжествах. В ней дан анализ социального состава и программных установок различных организаций, существовавших в княжествах в период подъема национально-освободительного движения. Большое научное значение работы состоит в том, что в ней на базе значительного фактического материала убедительно обоснован вывод о закономерности революции 1848 г. в Дунайских княжествах, которая была вызвана всем ходом социально-экономического и общественно-политического развития Молдовы и Валахии.

Социально-экономическая история балканских стран в эпоху феодализма послужила предметом тщательного исследовательского анализа в докторской диссертации К. В. Хвостовой «Теоретико-количественный подход в средневековой социально-экономической истории (на материалах византийских источников XIII — XIV вв.)» (официальные оппоненты: чл.-корр. АН СССР З. В. Удалцова, д-р ист. наук Г. Г. Литаврин, акад. АН Эстонской ССР Ю. Ю. Кахк). Это первый в отечественной и зарубежной историографии специальный труд, в котором на базе марксистской методологии всесторонне рассмотрены проблемы научного значения и применения количественных методов при анализе процессов средневековой истории. В частности, речь идет о новаторской постановке и решении проблем частичной формализации (т. е. записи в виде дифференциальных уравнений) утверждений концепции, характеризующей специфику расслоения феодально-зависимых крестьян в эпоху развитого феодализма, определенности закономерности эксплуатации крестьян в Византии XIII — XIV вв. Диссертация К. В. Хвостовой является результатом подробной монографической разработки данной проблематики; по этой теме уже вышла в свет ее монография, совпадающая в основном по материалам и результатам исследования с рукописью, представленной в совет на защиту.

В настоящее время в Совет представлены три докторские и пять кандидатских диссертаций; показательно, что среди соискателей, защитивших или представивших в Совет свои работы, имеются не только сотрудники академических учреждений г. Москвы (Института славяноведения и балканистики, Института истории СССР АН СССР), но и различных институтов из других городов нашей страны (Института истории АН Молдавской ССР, Кишиневского педагогического института, Орловского филиала Московского института культуры, Краснодарского политехнического института).

Науков Е. П.

В наше время, при необыкновенном росте всех видов информации, все более увеличивается потребность специалистов, студентов, учащихся в словарях; сами словари видоизменяются, развивается их тематика, расширяется круг вопросов, по которым читатель может получить в них справку.

Редакция славянских языков издательства «Русский язык» выпускает словари в основном на пяти западно- и южнославянских языках: польском, чешском, словацком, болгарском и сербскохорватском. Уже вышло в свет довольно много словарей разного типа, объема и назначения (на одних языках — больше, на других — меньше). Все словари, выпускаемые редакцией славянских языков, — это двуязычные филологические. Они ставят перед собой цель помочь в чтении иностранного текста и переводе его на родной язык, а также в переводе с родного языка на иностранный. В двуязычных славянских словарях приходится учитывать особенность, свойственную родственным языкам, — их близость и относительно легкую взаимную понятность, которая, однако, порой является лишь кажущейся, поэтому словарь должен предостеречь читателя от возможных ошибок в переводе.

Перед авторами и редакторами любого словаря стоят два основных вопроса, от правильного решения которых зависит его общественная ценность и практическая значимость: *что* включать в словарь и *как* описывать то, что в него включается, т. е. состав языковых единиц, включаемых в словарь, и степень полноты описания (лексикографической разработки) этих единиц.

В зависимости от объема словари условно подразделяются на карманные, средние и основные. На славянских языках издана серия карманных словарей, предназначенных для туристов и лиц, читающих на иностранном языке несложные тексты общественно-политической или художественной литературы. Кроме карманных, почти на всех славянских языках выпущены и так называемые средние словари, содержащие 40—50 тыс. слов и удовлетворяющие первейшие нужды читателей.

После создания словарей первой необходимости редакция перешла к работе над более сложными словарями, предназначенными для переводчиков и преподавателей. В последние годы выпущены двухтомные «Чешско-русский словарь» (1976), «Русско-чешский словарь» (1978), «Большой польско-русский словарь» (1979). Ведется работа и над другими словарями, содержащими около 70—80 тыс. слов — русско-польским, русско-сербскохорватским, болгарско-русским.

Уже несколько лет в редакции ведется работа над фразеологическими словарями, которые дают переводчикам и преподавателям богатый языковой материал, уходящий своими корнями в глубокое

прошлое народа, отражающий его историю, литературу и культуру. К настоящему времени вышли «Болгарско-русский фразеологический словарь» (1974) и «Русско-болгарский фразеологический словарь» (1980). Ведется редакционная работа над «Польско-русским фразеологическим словарем» и «Чешско-русским фразеологическим словарем».

При подготовке многих сложных словарей, особенно «основных» и фразеологических, издательство «Русский язык» сотрудничает с издательствами социалистических стран. Нашими постоянными партнерами выступают: в Польше — издательство «Ведза Повшехна», в Чехословакии — Государственное педагогическое издательство (в Праге) и Словацкое педагогическое издательство (в Братиславе), в Болгарии — издательство «Наука и искусство». Совместно с югославским издательством «Матица српска» (г. Нови-Сад) мы готовим «Русско-сербскохорватский словарь».

По сложившейся традиции рукописи совместных изданий проходят двойное редактирование: в московском издательстве и в издательстве соответствующей страны. Совместная работа над рукописью редакторов двух издательств и их тесный контакт с авторами словаря способствуют успешному разрешению такой сложной задачи, как лексикографическое описание близкородственных славянских языков.

В последние годы наше издательство стало выпускать учебные словари, рассчитанные на иностранцев, изучающих русский язык. На основе «Краткого толкового словаря русского языка» редакция подготовила серию словарей, предназначенных для поляков, чехов, словаков, болгар и сербов, начинающих изучать русский язык.

Для учебных словарей редакция подбирает авторов с таким расчетом, чтобы это были не только прекрасные знатоки того и другого языка, но и преподаватели-русисты. Оптимальным вариантом считается такой, когда в авторский коллектив входят советский специалист, владеющий иностранным языком, и иностранный специалист, владеющий русским языком, причем оба преподают русский язык иностранцам. Такие авторы, опираясь на собственный педагогический опыт, усиливают обучающую направленность словаря и предостерегают пользующихся им от ошибок, чаще всего встречающихся на практике.

Редакция славянских языков предполагает расширить выпуск и тематику словарей, предназначенных для иностранцев. В перспективный план включены учебные словари словосочетаний и учебные словари пословиц и поговорок. Будет продолжаться и выпуск словарей для советских специалистов, для переводчиков и преподавателей.

Мартьянова Г. А.

CONTENTS

<i>Vinogradov V. N.</i> Eastern Question and Anglo-Russian Relations in the 1830s. <i>Sumarokova M. M. F.</i> Filipovič's Pedagogical and Scientific Activity in Russia, 1904—1912. <i>Murtuzaliyev S. I.</i> On the History of Bulgarian People under Osmani- an Domination (Constantinople Patriarchate in the System of Osmani- an Administration of the XVth—XVIIth Centuries). <i>Ivanov Yu. F.</i> The Hussite Revolu- tionary Movement in the Soviet Historiography (the end of the 1930s — the be- ginning of the 1950s). <i>Samojlenko G. V. A. A.</i> Fadeev and Slavonic Literatures. <i>Gorskii I. K.</i> Notes on Some Conceptions of Comparative Literary Studies. <i>Shirokova L.</i> The Slovak Prose of the 1970s in the Literary Critique. <i>Moloshnaya T. N.</i> Processes of Syntactic Redecomposition of Combinations of Words in Slavonic Languages (on the Data of Russian, Polish, Czech, Serbian-Croatian, and Bulgarian Languages). <i>Orel V. E.</i> The Origins of the Albanian Nominal Flexion in the Light of Slavonic and Other Indoeuropean Facts	3
---	---

PEOPLE, EVENTS, FACTS

<i>Grishina R. P. G.</i> Dimitrov and the Leipzig Trial According to Materials of a New Documentary Rublication. <i>Freidenberg M. M.</i> Marin Držić, Comedies' Author from Dubrovnik	97
--	----

REVIEW — ARTICLES AND REVIEWS

<i>Cherniavskii G. I.</i> Боян Григоров. От съгласителство към залез. Социал- демократическата партия в България. 9 юни 1923 — 19 май 1934 г. <i>Salivon A. N. E. Schuld.</i> Handwerk und Gewerbe des 8. bis 12. Jahrhunderts in Mecklenburg. <i>L. K.</i> Traditions and Contemporaneity in Literature. <i>Belov V.</i> Joint Studies of the Soviet and Yugoslavian Scienists. <i>Mylnikov A. S. H. A.</i> Прокофьева. Творчество Карела Пуркине и чешская живопись середины XIX века	113
--	-----

SCIENTIFIC LIFE

<i>Ghibianskii L. Ya.</i> The Session of the Commission of the Historians of the USSR and SFRY. <i>Naumov E. P.</i> At the specialization Council for Defence of Doctoral Dissertations Affiliated to the Institute of Slavic and Balkan Studies of the Academy of Sciences of the USSR (on the General History). <i>Martynova G. A.</i> Dictionaries in Slavonic Languages.	123
---	-----

Технически редактор *Е. В. Сеницына*

Сдано в набор 11.02.82	Подписано к печати 19.04.82	Т-03287	Формат бумаги 70×108 ¹ / ₁₆
Высокая печать	Усл. печ. л. 11,2	Усл. кр. отт. 13,4 тыс.	Уч.-изд. л. 13,1 Бум. л. 4,0
Тираж 1157 экз. Зак. 1320			

Издательство «Наука», 103717, ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
 2-я типография издательства «Наука», 121099 Москва, Шубинский пер., 10

2 ГСП

ТРУБНИКОВСКИЙ ПЕР 30А

РЕД Ж-ЛА СОВ СЛАВЯНОВЕД

70891

Я

Цена 1 руб. 20 коп.

Индекс 70891